

ISSN 0012-6756



**Дружба
народов**

2/2023



В номере:

Прошлое в настоящем

«Жених направился к гардеробу. Он кивнул мне, проходя. И пожал плечами, словно уже нашел человека, с кем можно усмехнуться на равных по поводу всей этой суматохи. Маска у него была капитальная. (Ковидные времена. — Прим. ред.) Норковое кепи закрывало лоб, я видел одни глаза. Он едва успел разделаться с лишней одеждой, когда женщина в бордовом, в цвет декора, громко возгласила:

— Белицкая! Никаноров!

Лена перехватила букет, взволнованно отвела фату, сняла маску и, смеясь, посмотрела на жениха. Он тоже снял маску и широко и смущенно улыбнулся. Это был Александр».

В богатом на события романе Андрея ВОЛОСА «Облака перемен» у всех героев — своя история отношений с этим персонажем, а у него практически для каждого из них — свое имя. А происходит ли все это «на самом деле», то есть, в реальности, разворачиваемой перед нами автором, или на страницах одноименного романа, который сочиняет его главный герой, — разгадка за читателем.

Тот самый Белкин

Еще один «литературный» сюжет. Легкая, искрящаяся «Повесть о Белкине» Ирины МУРАВЬЁВОЙ — о том самом известном — и не известном — герое хрестоматийных пушкинских повестей. Кто он, Иван Петрович Белкин? Литературный персонаж? Герой мистификации Пушкина? Или реальный человек, автор простых и таких мудрых повестей? Взгляд и изложение Белкиным разных событий своей бурной жизни не всегда совпадают с узнаваемыми сюжетами и героями повестей Пушкина, и эти наложения и разночтения раздвигают художественное пространство повести Муравьевой.

«Ранит жало жалости прямо в сердце»

«Жалость — сестра страданья» — один из главных мотивов философской лирики Олеси НИКОЛАЕВОЙ, который в наше время достигает иных высот, и «жалость — сестра любви».

В стихах Евгения КОНОВАЛОВА раздумья на вечные темы — любовь и смерть, где звучит ироничное: «вся-то смерть — не более чем точка/ в переизбытке слов». Подборка стихов Ирины КОЛЕСНИКОВОЙ «Свидетельство о рождении» полна воспоминаний о картинах благополучного солнечного детства — «мамин сад, папин день рожденья», — которое, однако, отмечено семейной драмой.

«Тем, кому ещё жить да жить»

«Зачем я все это пишу? Кому интересна чужая инфантильная политностальгия?» — спрашивал себя Алексей МАЛАШЕНКО в эссе «Политика моего детства» («ДН», 2019, № 11). Надеемся, она интересна многим, в том числе молодым людям, для которых середина прошлого века — глубокая история и которым любопытно узнавать о тех временах и нравах не только из статей и исследований, но и из таких вот непосредственных, порой забавных детских и юношеских ощущений-воспоминаний очевидцев. И вот — новый их виток: «Тому повезло, кто во взрослой жизни иногда умеет возвращаться в детскую память. Порой нелепо-невозможным кажется, что такое бывало, зато весело верить, что такое не повторится. Хотя бывает, что и повторится». Алексей Малашенко. «Васильки памяти».

Дружба народов



*Независимый
литературно-художественный
и общественно-политический журнал*

2'2023

*Основан
в марте 1939 года*

Адрес редакции:
117218, Москва,
ул. Кржижановского, д. 13, стр. 2,
журнал «Дружба народов»
Телефон (многоканальный):
8-499-519-02-12

E-mail: dn52@mail.ru,
Сайт журнала:
<http://дружбанародов.com>

Юридическая поддержка:
Congress Consulting.
Свидетельство о регистрации
№ 73 от 14.09.1990 г.
в Министерстве печати
и массовой информации РСФСР.
Свидетельство о регистрации
товарного знака № 288681.
Зарегистрировано в
Государственном реестре
товарных знаков и знаков
обслуживания РФ
12 мая 2005 г.

Отпечатано с готовых файлов заказчика
в АО «Первая образцовая типография»,
филиал «УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ»;
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

**Редакция не имеет возможности
рецензировать и возвращать
рукописи.**

**Во всех случаях полиграфического
брака в экземплярах журнала
обращаться в типографию, указанную
в выходных сведениях.**

**При перепечатке наших материалов
ссылка на журнал «Дружба народов»
обязательна.**

Сдано в набор 20.12.2022.
Подписано в печать 25.01.2023.
Формат бумаги 70 x 108 ¹/₁₆
Печать офсетная.
Усл.-печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,1.
Уч.-изд. л. 21. Тираж 1200 экз.
Заказ Цена свободная.

Редакционная коллегия

Главный редактор Сергей
НАДЕЕВ
Ольга
БРЕЙНИНГЕР

Ирина
ДОРНИНА

Ответственный секретарь Елена
ЖИРНОВА

Первый заместитель главного редактора Наталья
ИГРУНОВА

Галина
КЛИМОВА

Владимир
МЕДВЕДЕВ

Заместитель главного редактора Александр
СНЕГИРЁВ

Редакционный совет

Мария
АНУФРИЕВА

Сухбат
АФЛАТУНИ

Муса
АХМАДОВ

Ольга
БАЛЛА

Дмитрий
БИРМАН

Денис
ГУЦКО

Ольга
ЛЕБЁДУШКИНА

Фарид
НАГИМ

Илья
ОДЕГОВ

Валерия
ПУСТОВАЯ

Сергей
ФИЛАТОВ

Ренат
ХАРИС

Александр
ЧАНЦЕВ

ЭЛЬЧИН

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Олеся НИКОЛАЕВА. Жалость — сестра любви. <i>Стихи</i>	3
Андрей ВОЛОС. Облака перемен. <i>Роман</i>	8
Татьяна ВОЛЬТСКАЯ. Любви и стихов. <i>Стихи</i>	71
Ирина МУРАВЬЁВА. Повесть о Белкине	75
Владимир ТРЕНИН. Вне времени. <i>Рассказы</i>	112
Евгений КОНОВАЛОВ. В парке на площади мира. <i>Стихи</i>	135
Тамерлан ТАДТАЕВ. Рассказы	139
Лада ЩЕРБАКОВА. Тётя Лошадь. <i>Рассказ</i>	157
Игорь КОРНИЕНКО. Волшебная кнопка. <i>Рассказ</i>	173
Владимир ПАНКРАТОВ. Лёша Козихин. <i>Рассказ</i>	181
Алексей ИВАНОВ. Иисусова молитва, или Старая бомжиха с рыжим котом на поводке. <i>Рассказ</i>	186
Ирина КОЛЕСНИКОВА. Свидетельство о рождении. <i>Стихи</i>	192

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Мюд МЕЧЕВ. Детство в Пуговичном переулке. <i>Фрагмент повести</i>	194
-------------------------------------------------------------------------	-----

НАЦИЯ И МИР

Алексей МАЛАШЕНКО. Васильки памяти	219
------------------------------------------	-----

МОЯ МАЛАЯ РОДИНА

Ася УМАРОВА. Полка с чувствами	235
Ганна ШЕВЧЕНКО. Игра в слова	241

ЖИЗНЬ В ЛИТЕРАТУРЕ

Евгений ЯМБУРГ. Горевание. <i>Памяти Марианны Гончаровой</i>	245
--------------------------------------------------------------------	-----

ЛИТЕРАТУРНЫЙ БАРОМЕТР

Евгений АБДУЛЛАЕВ. Снова обидно за поэзию	264
-------------------------------------------------	-----

ПРАВИЛА ИГРЫ

Борис МИНАЕВ. Банный день	268
---------------------------------	-----

НА НАШЕЙ ВКЛЕЙКЕ

Азербайджанские художники Мелик Агамалов, Гусейнкули Алиев,
Эльшан Гаджизаде, Орхан Гусейнов, Мамедкерим Кулиев, Эльдар Мамедов,
Мухаммед Оруджев, Таир Салахов, Фархад Халилов

SUMMARY	272
----------------------	-----

Олеся Николаева

Жалость — сестра любви

Россия спит

Россия спит с весны и до весны,
раскинувшись, цветные смотрит сны.
Живые с мёртвыми здесь разговор ведут,
а духи ушлые у них тела крадут.

Один представился мне дедушкой — сто лет
как умер он, но есть его портрет.
Полковник, удостоенный креста,
да выправка как будто бы не та...

Другой сказал, что он — философ: жжёт,
что падающих в бездну подтолкнёт.
А третий, хоть и гэкает, речист,
эсер по виду, по всему — бомбист.

А этот — вроде в рясу облачён
и в сане, а присмотришься — Гапон.
И вопиет царевич кровью всей,
двоясь в глазах: Димитрий — Алексей.

А тот знакомец — он пока живой,
точь-в-точь, но со свиною головой.
И рядом вьётся льстивым шепотком
подруга с рожками, прикрытыми платком.

...Ворочаясь, Россия смотрит сны,
где оборотни с явью сплетены,
где ворон каркает, чтоб здесь гнезда не вить
и рыбу вещую руками не ловить.

Николаева Олеся Александровна — поэт, прозаик, эссеист. Профессор Литературного института им.А.М.Горького. Автор многочисленных книг стихов, прозы и эссе. Лауреат многих литературных премий, в том числе Национальной премии «Поэт» (2006). Постоянный автор «Дружбы народов». Живёт в Перedelкине.

Дурные сны, где всё наоборот,
где шлёт налево правый поворот.
Кривое зеркало, но как обострены
черты обыденности в образах вины.

Лишь иногда почувешь вдруг сквозь сон
глас хлада тонкого, чуть слышный перезвон,
очнёшься, вздрагивая, как от забытья:
царевна спящая, жива ль ещё?
А я?

Глаза, ослепшие от света, чуть красны.
Ногам, отвыкшим от дорог, пути тесны.
Речь неподатлива.
Такие вот дела,
коль Царство Божие едва ль не проспала.

Жалость

1

Небеса разверзлись, дрогнуло мирозданье,
и с высот обрушилась — горька, остра —
жалость.
Эта жалость — сестра страдания.
Жалость, эта жалость — стыда сестра...

Дождь, как гвозди в крышу, вбивает скерцо.
И поклясться хочется на крови:
ранит жало жалости прямо в сердце,
нацарапав: жалость — сестра любви.

2

...В ней живёт несбывшееся, снов и грёз лишая.
С ночи о предательствах орут петухи.
Там терзают девочку — даром, что большая, —
бедность беззащитности, юности грехи.

Там обиды детства, грубый хохот, топот
тёмных искусителей, шелест чёрных крыл.
Ничего не выгадал ей возраст,
взрослый опыт
панцирь безразличия не подарил.

И когда в ней всё болит, дух с душою в ссоре,
и земля под ней дрожит, и трепещет твердь,
я глотаю жалость, горькую, как море,
и всепоглощающую, словно смерть.

Рифма

Война рифмуется с виной,
и со страной, и со струной,
когда с надрывной скрипкой
встречается смычок больной...
Война рифмуется со мной,
растерянной и хлипкой.

Но рифма ведь — не просто так:
не только путь, не только знак
и звуков совпадение:
там светверху и тьма внизу
вдруг вспышкой сходятся в глазу
для нового виденья.

Владенья нового! Двоясь,
живой с живыми ищет связь —
дуэта, перебранки...
Глядишь — а мир как будто взвесь,
ан прикреплён к корням и весь
переплетён с изнанки.

...О, рифма! Как она порой
с напарницей вступает в бой:
и дразнит, и кошмарит.
Аж крови вкус на языке,
и в материнском молоке
козлёнка сдуру варит...

Войной — она идёт за мной,
пугая тёмной крутизной,
раскинутой кромешно.
И получается — война
срифмована, предречена
и — неизбежна!

* * *

Там Муза на холме пасёт моих драконов:
хватает страх за хвост, разит лукавый глаз.
А только ночь придёт — спускаются со склонов
шуршащий шёлк её и шепчущий атлас.

Всё шелестит вокруг, как будто сад — посредник:
то передвинет куст жасминовый к крыльцу,
то вести принесёт, то ловит в свой передник
жуков и мотыльков, и звёздную пыльцу.

А если нет её — она ушла к другому
на дальние холмы, меняя звукоряд,
драконы цепи рвут и мечутся по дому,
свет тушат, душат птиц и топчут старый сад.

Особенно один — он валит, поднатужась,
стропила, крепежи и крошит в решето.
Среди его имён я знаю только Ужас,
но иногда себя он сам зовёт Ничто.

И всё это не миф, не вымысел, не призма,
ломающая луч, корежащая вид,
а высший реализм,
и Первая кафизма,
псалом шестой, о том же говорит...

* * *

Когда какой-то тролль иль фрик
коверкает язык,
корёжит смысл, глотает звук
и кормит чёрных псов из рук
под скрип ночных басов
осололевших сов, —
мне кажется, что прямо в кость
височную вбивают гвоздь.
Мне словно скармливают яд,
кладут ничком под кнут,
рвут печень, колют в глаз, язвят
язык и ноздри рвут.

Глагол хромающий облез,
спал синтаксис с лица
и ходит, прокажённый, без
креста и бубенца.
И беличий кровавых мех
мятётся по кривой,
а там трясёт беззвучный смех
безгубой головой.

Все эти «дыр-бул-щыл», «тыр-пыр»
ударом кулака
в расположење чёрных дыр,
на двор гробовщика
сгоняют бессловесный мир,
чтоб сдох наверняка.

Свобода

Прельстительно лукавая химера
свободой манит, в кулаке ж — пятак.
Ведь подлинной свободой только вера
владеет: «Sola fide!» Только так.

Мычит, мычит священной коровой
мирской свободы скучный саундтрек.
Лишь властной свободой Христовой
раб внутренний отпущен в вольный бег.

И смотрит он, как мелочен и мелок
век современный: яма, а на дне —
всё в кучу свалено и брошено вчерне:
собрание кукол, чучел, туш, безделок...
Когда-то там, в Голгофской вышине,
по баснословной купленных цене.

* * *

Век двадцать первый ступил тяжело:
вот он уже за чертой.
И повторяет, что золото — зло,
разве что век золотой...

Хочет забыть эту небыль и быть,
ранит своё остриё:
всё обесщещено, втоптано в пыль,
и обесценено всё.

И обесточено. Холод, темно:
глядь — а идёшь по телам.
Всё обезглавлено, всем всё равно,
все одурочены в хлам.

Обезображены. Угнаны в даль
чувства, а сердце — в золе.
И опрокинутая вертикаль
дух придавила к земле.

Даже когда загорелось, горит,
век двадцать первый — в дыму —
речь бессмысленную говорит,
вторя себе самому.

Андрей Волос

Облака перемен

Роман

Автор благодарит Вячеслава Григорьевича Игнатюка, без самоотверженной помощи которого эта книга не могла бы появиться на свет.

Пролог

На похоронах редко увидишь что-нибудь новенькое, всё заранее известно, разве что эпилептический припадок, как было на Мишиных с кем-то из Майиных, или тот случай у Веры Сергеевой, когда новоиспечённый вдовец собрался сказать слово о своей безвременно ушедшей: сказал одно, сказал другое, а на третьем упал, и через четыре дня беднягу самого выносили.

Поэтому и хорошо, что дело шло самым традиционным образом. Выбивалась разве что Ленина фата: даже когда уже расселись и стали наливать и накладывать, тёмное облако по-прежнему смазывало черты её осунувшегося лица и словно добавляло застолью полумрака.

Лена с самого утра была в ней. Когда я подошёл к моргу, она стояла, держа Марину под руку. Эта её фата меня удивила, но я не подал виду, произнёс положенное и отошёл в сторонку.

Я ожидал увидеть более значительное собрание: пышные букеты, венки в размер самолётного люка, чёрные приземистые машины с вышколенными водителями — всякое такое, что больше подошло бы к Лениному статусу, о котором говорила Марина.

Но собравшиеся ни числом, ни качеством не оправдывали ожиданий. Наверное, мы поместились бы и в «газель», во всяком случае, «пазик» оказался далеко не полон.

Марина переговаривалась с приятельницей на соседней лавке, Лена молча сидела рядом, и в ней было что-то от нахолившейся чернопёрой птицы.

Волос Андрей Германович — прозаик. Родился в 1955 году в г. Душанбе (Таджикская ССР). Окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. Губкина. Член Союза писателей Москвы. Лауреат международной литературной премии «Москва—Пенне» (1998), Государственной премии Российской Федерации за роман «Хуррамабад» (2000), лауреат премий «Русский Букер» и «Студенческий Букер» (2013) за роман «Возвращение в Панджруд» и др. Постоянный автор журнала.

Предыдущая публикация — «Мешалда. Книга семейных рецептов» (2021, № 4–5; премия журнала «Дружба народов»).

При выезде на кольцевую машина ритуальных услуг попала в пробку. (Слово «катафалк» лично для меня навеки сцеплено с лафетом, я его инстинктивно избегаю.) Мощные рывки предварялись грозным хрюканьем в коробке передач. Гроб скрипел, слегка елозя по стальным полозьям. Солнце жарило в окна, в проёмы сдвинутых створок несло не столько прохладой, сколько гарью.

Но скоро выбрались, покатали веселее и минут через сорок въехали под ажурную металлическую арку, поверху украшенную серебряным полукругом с чёрными буквами топонима.

Снаружи было по-летнему хорошо: солнце, тёплый ветер. Такое случается в середине апреля: вчера ещё снежило, сегодня иные в шортах, завтра опять белые мухи полетят. Почки ещё и не думали разворачиваться, деревья сухо подрагивали чёрными ветвями, лишь несколько ближних к конторе берёз подёрнуло зеленью, как в середине лета подёргивает ряской воду в пруду.

Пока гурьбой шагали за каталкой, он, этот северо-западный, поначалу такой ласковый и тёплый, успел надоесть. Налетал будь здоров: умеренный, порывами, пожалуй что, и до сильного.

На полпути с крышки домовины сдуло несколько гвоздик (хоронили в закрытом), я подобрал, но не знал, можно ли положить обратно, так потом и нёс в руке эти четыре бледно-розовых цветка.

Ветер не унимался; вуаль омрачала её бледное лицо, и у могилы Лена занималась в основном тем, что что-то там подкалывала, как-то там её пришила, чтобы не очень трепалось. А снова распустила, когда всё кончилось: оставили цветы на бугре и вернулись к автобусу.

Я понимал, почему фата, да и все, наверное, понимали: что тут непонятного, куда уж прозрачней, со дня бракосочетания месяца не прошло. Так что хоть и траурной расцветки, а всё же по сути дела подвенечная. И само слово «венчание» нетрудно было подверстать, оно тоже обретало нужный смысл, примеров сколько угодно, *повенчан со смертью, калена стрела венчала* и так далее.

В общем, знаки прочитаны, иносказания поняты, аллегории разгаданы, всё ясно. Разве что в том некоторое несовпадение, что фата на Лене, а округиться с вечной разлучницей пришлось суженому.

Сонечка лопотала, тянула мокрый кулачок и всё норовила высвободиться, не концентрируясь на этом особо, а просто рутинно не оставляя попыток вольной жизни: ёрзала, упрямо дрыгая пухлыми ножками в белых колготках и алых пинетках. Но свобода не завоёвывалась, детские стулья нарочно так устроены, чтобы баловство не кончилось увечьем, — на пузике перекладина, сзади высокая спинка.

Они втроём сидели на одной стороне стола и близко друг к другу — Марина, Лена, Сонечка, — и почему-то мне казалось, что, несмотря на строгую иерархию, существующую между ними — бабушка, дочка, внучка, — все три и теперь, и прежде, и впредь будут одного возраста, а может быть, само это понятие — возраст — в применении к ним вовсе лишено сколько-нибудь разумного содержания.

Гипюр мешал Лене подносить вилку ко рту, минут десять она упрямо с ним боролась, но потом всё же сдалась и сняла фату. Лицо её просветлело, и когда это произошло, стало понятно, чего не хватало, чтобы скорбная торжественность собрания окончательно растворилась в звуках не столь уж и безжизненного застолья.

Полязгивали вилки о тарелки, апельсиновая вода побулькивала, полня стаканы, цокали горлышки о рюмки, кто-то покашливал, кто-то нечаянно похихатывал. Марина твердила, чтобы не смущались, брали закуски: дескать, налетайте, скоро она

принесёт горячее — утром попросила соседку присмотреть за курицей с картошкой, и всё получилось: и упрело на славу, и остыть не успело. Давайте-давайте, вот она уже пошла, а вы пока тут позаботьтесь, надо же помянуть Шуру, ведь какой человек был хороший, только не чокаться, давайте-давайте.

Мы и не чокались, хотя и непривычно было не чокаться, рука всякий раз сама тянулась, приходилось смирять позыв усилием воли, а если кто-нибудь всё-таки нечаянно забывался, выставял рюмку, дожидаясь соударения, то сосед шикал: ты что, мол, разве можно, — и всякий раз забывчивый так охал и так спохватывался, будто ещё мгновение, и всё бы пошло прахом, всё бы насмарку, спасибо, придержали.

Раз за разом прокатывались одни и те же давно всем известные фразы, встречаемые столь же привычными ответными словами, но ведь это не шутки были, чтобы называть их заезженными, тут не до шуток, дело серьёзное, а что до нового, так никто здесь нынче и не собирался сказать или услышать хоть крупицу чего-нибудь нового.

В общем, хорошо, что всё шло заведённым порядком, а то ведь всякое бывает.

Курили на балконе. Пробираться приходилось по неожиданно сложной траектории. Большой части предметов, загромождавших и без того-то тесную квартиру, явно требовалось иное пространство, чтобы показаться стильными и даже удобными. Не исключено, что их вызывающая никчёмность и там вызывала бы недоумение.

Высокое зеркало сложной формы с добавочными стеблями и листьями нержавеющей стали, прихотливо выющимися вокруг криволинейной рамы, — сама же рама в золотой арке на карданных шарнирах, позволявших, по идее, менять и наклон, и угол поворота в поисках верного ракурса отражения, — но тут негде было толком размахнуться. В углу рулон диких шкур, наружная как бы не зебрычья. Туземная этажерка, назначенная на роль Антея, хлипко кособочилась под каминными часами в виде земного шара.

Три холста, один другого шире, стояли лицом к стене, словно чего-то стыдятся; судя по массивности золочёного багета, за лаковые завитушки которого я несколько раз цеплялся пиджаком, протискиваясь, живопись была на исторические сюжеты.

Вся эта надрывная роскошь в хрущёвке меня озадачивала.

Но потом зашёл кое-что прояснивший разговор. Все находили слова посочувствовать, подруга Марины качала головой, повторяя: «Что за люди, уму непостижимо!» — Лена морщилась уязвлённо и стоически.

Дело и впрямь было из ряда вон: мало того, что мужа хоронить, так ещё и вывозить имущество как на пожаре.

Незадолго до свадьбы Шура снял для них огромную квартиру в новом элитном доме на Пречистенке, под Новый год Лена к нему переехала, а когда всё случилось, выяснилось, что за жильё ни разу не заплачено, даже аванса почему-то нет. И теперь никто из присутствующих не мог понять ни того, как вышла такая недостача, ни, тем более, как арендодателям хватает совести выкидывать на улицу молодую вдову — мать с ребёнком (правда, Сонечка всё это время оставалась с бабушкой).

— Я ведь от своей прежней квартиры отказалась, — поясняла Лена. — Теперь ещё найди подходящую... И куда мне было деваться?

— Ну изверги, просто изверги! — говорила Маринина подруга, расширяя глаза. — Как же так-то, господи!..

— Не верю я, что Шура за квартиру не платил! — вновь и вновь повторяла Марина. — Не такой он человек, чтобы за квартиру не платить! Он молодую жену в неё привёл, как же не платить?

— Вот именно, — поддержал Марину её брат. — Верно говоришь. Знаю я этих арендодателей! Как слух пошёл, так и изобрели, чтоб другой раз деньги сорвать. Ты документы у них требовала?

Лена отмахнулась:

— Дядя Клим, ну какие документы! Это у меня должны быть документы, что плачено! Ордера, переводы!.. А их нет! И что?!

— Совсем люди озверели, — печально констатировала другая Маринина подруга — Оля, не то Наташа, — которая с короткой стрижкой. Пока я запомнил, что Маринино брата зовут Климом, остальные сливались и путались, но шансы когда-нибудь ещё свидеться были невелики. Кроме того, я понял, что всё это были друзья и родственники Лены и Марины, а со стороны покойного, кажется, никого не было. — Слышала, что с Наташей Горенковой?

— А что с Наташей Горенковой? — удивилась Марина. — Я её тыщу лет не видела. Что с ней не так?

— Ты не знаешь? Ну, тогда, если вздумаешь повидаться, шуруй прямо на Домодедовское.

— Да ты что! — ужаснулась Марина. Она прижала ладони к щекам, скорбно качнула головой, а отняв, взяла обычный тон: — Ну, она же насколько старше была...

— Дело не в возрасте, — возразила другая подруга, тут же описав трагическую ситуацию Наташи Горенковой, вечная ей память. Все знали, что Наташина дочь давным-давно вышла замуж за какого-то немчуру и уехала в Германию, а Наташа переписала принадлежавшую ей квартиру на имя своей кровиночки, потому что мать есть мать. Много лет это не имело значения, но когда прошло время и немца попросили со службы, возникли какие-то проблемы с выслугой лет, так что чуть ли не без пенсии. Тогда дочка и вспомнила о своём имуществе. Наташа Горенкова сначала не поняла: а я где буду жить? Ну что ты, мама, удивилась дочка, у тебя друзей-то сколько!..

— Вот ничего себе! — всполошилась Марина. — Это каких же друзей?! Это мы, что ли, друзья?

— В общем, она её тут же в дом престарелых. И через две недели — аля-улю!..

— Да ты что!.. — ахнула Марина. — А квартира?

— Да что квартира? Говорю же: дочка продала квартиру!

— Дети есть дети, — со вздохом заметил Николай, не то Василий.

— Вот ты даёшь! — возмутился Клим. — А мать что же? А мать не есть мать?!

— Мама, что ты на меня так смотришь? — рассмеялась Лена. — Я не отдам тебя в дом престарелых!

Я невольно ждал, что острая на язычок Лена добавит в шутку что-нибудь вроде «разве что в психушку!», но обошлось.

К тому же Сонечка сказала долгое «тпру-у-у-у-у!», словно подводя итог дискуссии, и с размаху бросила на стол обслюнявленного утёнка.

— Зубки режутся у нас, — проворковала Марина. — Скоро будем совсем зубастые. Да, зайныка? Зубастые будем! Берегись тогда! Всех покусает! Да, чижик?

Девочка захныкала.

Марина извлекла утёнка из салатницы, отёрла майонез и вернула Соне. Соня снова с урчанием в него впиалась.

— Эх, Шура, Шура!.. — вздохнула Марина, с нежной улыбкой глядя на девочку. Её грустные слова спустили очередную пружинку.

— Да, да... чуточку...

Татьяна Вольтская *

ЛЮБВИ И СТИХОВ

* * *

Заплывшие снегом дома,
За поездом — лёгкая вьюга.
На месте ли град Кострома,
И Вологда, и Калуга?

В России стоят холода,
Состав громыкает порожний.
Плодами висят города
На ветке железнодорожной.

Зайдём в привокзальный буфет —
Я ждать у окошка готова.
Сорви мне плацкартный билет
И мёрзлое яблоко Пскова —

Гостиничный бедный уют
С сомнительной водкой из фляжки,
И что-то весь вечер поют
За сквериком в пятиэтажке.

А утром — прощаясь скорей, —
Сожмёшь меня крепко — до хруста,
И гирьки тугих снегирей
С заснеженных веток сорвутся.

Вольтская Татьяна Анатольевна — поэт, эссеист, автор шестнадцати сборников стихов. Родилась в Санкт-Петербурге. Стихи переведены на английский, немецкий, шведский, итальянский, сербский и другие языки. Лауреат многих литературных премий, в том числе Пушкинской (1999, Германия), журнала «Звезда» (2003), дипломант премии «Московский счёт» (2022).

* Внесена в специальный реестр иностранных агентов Минюста РФ.

* * *

Однажды здесь, на моей странице,
Напишут — такая-то умерла.
А надо было — сугроб искрится,
Метель, и крыша белым-бела.

А надо — праздники, воздух синий,
Платформа, тающий горизонт,
Мужик танцует у магазина,
Врубив в машине крутой музон.

А надо было — из электрички
На остановку спешит толпа —
Из лопнувшего пакета с гречкой
Как будто высыпалась крупа.

То Витька с Веркой, то Димка с Лидкой
По снежной каше — скорей в тепло.
И только тут, у моей калитки —
Следы вчерашние замело.

* * *

И в поле, и в доме, в толпе и вдвоём,
И в хате, и в сакле
Родители пели — а мы не поём, —
И в горле иссякли,

Как вырубленные на Волге леса,
Последние звуки.
Не знают, какие у нас голоса,
Ни дети, ни внуки.

Те песни отчалили в сторону тьмы,
Как лошади цугом.
Ещё танцевали родители — мы
Уже не танцуем.

Тот мир помахать нам рукою готов
И сдаться без боя,
И вот уже нет ничего, кроме слов,
Меж нами с тобою.

* * *

Река пробирается в белых чулках
Вдоль чайачьей стаи,
А снег, как последний отряд Колчака,
Редееет и тает.

Иди вдоль забора, дворца, шалаша,
Не думай о снеге,
Но белая конница так хороша
В недолгом разбеге —

Она понимает, что обречена,
И всё же, и всё же...
Подъёмные краны, лебёдка, стена.
Никто не поможет.

И носится смерть меж фонарных столбов,
Чешуйчатых башен,
А снег всё отчаянней, будто любовь,
И всё бесшабашней.

* * *

Любви и стихов — а чего ещё
Просить в наступающей мгле,
В набитом автобусе, в воющей
Позёмке на тощей земле.

Чего ещё надо, куда ещё
Кидаться? Сквозит из дверей.
В нетопленной комнате тающей
Накрой мою руку своей —

Как белым в Чите и Поволжье
Накрыло дома и дворы.
Горят семафоры по-волчьи,
Рысцою бегут пустыри.

А нам-то куда торопиться —
Вот старенькой бани венцы,
Вот родины нашей, волчицы,
В мохнатой метели сосцы.

* * *

Как будто нигде не горит,
Но дымом отчётливо тянет,
И в воздухе носится ритм,
Голодного пламени танец.

В морозном тумане огни
Пока что невидимы глазу,
Откуда-то с Волги они
Нахлынут, а может, с Кавказа,

А может, и с разных сторон
По искорке — тыщи и тыщи.
Взвиваются хлопя ворон,
Как будто внизу — пепелище,

И мы у кирпичной стены,
И город, и берег шершавый —
Раскатанные головни
Так прочно стоявшей державы.

* * *

Обними меня крепче, пожалуйста,
Руки на плечи мне положи.
Видишь вьюги последние шалости,
Снег сдувающей прямо с души,

С покосившейся лестницы старенькой —
Что ни шаг, то забытый грешок.
Сядь со мною, разлей по стопарикам,
Что осталось на посошок.

Слышишь — жизни последние милости —
В телефоне друзей голоса,
Видишь клён чернорукий и жилистый,
Уцепившийся за небеса?

Ну, а мы на невидимом знамени
Нарисуем друг дружку с тобой —
Как под той высотой безымянною,
Где уже не стоят за ценой.

Ирина Муравьёва

Повесть о Белкине

Гале Климовой

Прежде всего не мешает сказать, что Иван Петрович Белкин был весьма беспокойного и чувствительного характера, и это с самого младенчества препятствовало его счастью. Он был бы и рад родиться таким, как большинство его приятелей, людей благородных, но несколько грубых, однако же нет, не родился. Тревога снедала его. Особенно утром. Проснётся, бывало, он на Подкопаевском, в квартирке, которую нанял в столице, и сердце стучит прямо в горле. Столица наводила на Ивана Петровича то страх, а то дикий какой-то восторг. В деревне ведь как? Там всегда кто-то рядом. Вон маменька вяжет салфетку, вон кошка, вон няня. А здесь, в Подкопаевском? Нет, здесь всё другое. Постепенно Иван Петрович привык, втянулся в столичную жизнь, и странно, что он вдруг приехал обратно в деревню, где вскоре и умер в неизвестности.

Не будем, однако, спешить и заглянем в недавнее прошлое. Невинность свою Иван Петрович потерял за полгода до того, как перебрался в столицу, и случилось это дома, в деревне, по восемнадцатой весне его. Будучи неисправимым мечтателем, он уединялся в лесу и в полях, бродил по цветущим лугам, дышал речной свежестью, и люди ему не мешали.

Однажды, часов эдак в десять утра, когда вся природа трепещет от света, разлившегося по стволам, по клейким листочкам и всем её жилочкам, а птицы поют куда жарче и громче, чем даже певцы в самом лучшем театре, и нету не только что зла на земле, но даже намёка на зло нигде нету, лежал наш герой в тонкой белой сорочке и тихо дремал под задумчивой кроной столетнего дуба. Вдруг шорох его пробудил. Шагах в трёх от дерева увидел он женщину. Глаза её были зелёного цвета, такого зелёного, — впору зажмуриться, и уж до чего хороши! Большие, в пушистых, как пчёлы, ресницах, и веки казались немного зелёными, как будто зрачки разлились под их кожей. Раскинувшийся в мураве спящий юноша, должно быть, привлёк любопытство красавицы. Она наблюдала за ним с интересом, но, кажется, вовсе его не стеснялась. Он тут же вскочил и, одёрнув сорочку, её поприветствовал. Она не сказала ни слова и только слегка наклонила в ответ свою шею, блестящую влажно от пота. День жарким был, душным, — губернское лето.

Муравьёва Ирина Лазаревна родилась в Москве. Окончила филфак МГУ, отделение русского языка и литературы. Работала в Музее Пушкина. Автор многочисленных романов, повестей и рассказов. Живёт в Бостоне.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2021, № 11.

— Откуда ты? — сильно робея, спросил он.

— Я? Да из Нефёдова, — спокойным и ласковым голосом сказала она. — Иду по грибы. А ты барин, кажись? Зареченский, что ли?

Крестьянка несла кузовок на верёвочке.

— И много ли нынче грибов?

— Искать, — так найдёшь, — отвечала она.

Ему показалось, что в этих словах была укоризна его барской праздности.

— Вчера нездоровилось, вот задремал.

— А мне что с того? — возразила крестьянка. — По мне ты хоть дрыхни весь день.

Испугавшись холодного её тона, Иван Петрович сказал первое, что пришло на ум:

— Воды нет напиться?

Она удивлённо блеснула глазами:

— Глухой али как? Вон ручей-то шумит.

И тут он услышал, как громко, настойчиво шумит совсем близко ручей.

— А жарко и впрямь, — усмехнулась красавица и, плавно раздвинув высокие травы, шагнула к ручью, живо села на корточки, и кончик косы закружился в воде.

Она принялась жадно пить, и каждый глоток её сопровождался таким упоительным звуком, что сердце Ивана Петровича теперь уже не колотилось, как прежде, а бухало громче, чем колокол в праздник. Он тоже хотел было встать на колени, но зеленоглазая оборотила лицо к нему, шурясь немного от солнца, и молвила прежним ласкающим голосом:

— Почто ж ты не пьёшь?

Он, не отвечая, припал пересохшим в волнении ртом к сияющей этой струе и с надеждой взглянул на крестьянку. И тут словно дьявол вселился в обоих. Зажглось всё внутри: от затылка до пят, и оба они очутились в траве, где мелко цвели золотистые лютики.

Пропала невинность, и сладкие грёзы, которые часто смущали его, особенно зимним метельным рассветом, когда, завернувшись в своё одеяло, лежал он и думал о будущей жизни. В этих грёзах Ивану Петровичу всегда мерещилось одно и то же. Он видел высокую стройную барышню, похожую то на Софи Друбецкую, то вовсе нисколько и не на Софи, но женщину, старше немного, вдову, Авдотью Андревну Румянцеву, всегда очень бледную и всегда в чёрном по случаю вечного траура. И рядом с ней — то с быстроногой Софи, то с томной Румянцевой — он чувствовал живо себя самого, с высокой зажжённой свечою в руке, взирающего на отца Никодима с густой сеткой тёмно-малиновых веточек на старческой коже, и тут же восторженно переводящего глаза на невесту под пышной, как пена, фатой. Семейная жизнь представлялась ему одним только праздником. Включались, однако, картины сражений, когда он, схватив ярко-красное, мокрое от крови убитого маршала знамя, бежал на врага, увлекая солдат, геройски спасая царя и Отечество. Но эти картины сменялись другими. Вот он возвращается, мчится в коляске, въезжает во двор, и навстречу ему сбегает с крыльца дорогая супруга и с нею ватага нарядных детишек. Она как подкошенная припадает к широкой груди его, плача от счастья, а детки, отталкивая друг друга, стремятся как можно теснее прижаться к мундиру, пропахшему дымом и порохом.

Теперь же, потеряв невинность, Иван Петрович вовсе перестал мечтать. Простая крестьянка, точнее, рабыня, так им завладела, что он вмиг забросил учёные книги, а ждал только жгучей минуты свиданья всё в той же прохладной дубраве.

* * *

Избранница нашего пылкого юноши звалась Акулиной. Уже пару лет как её обвенчали с Пахомом, рябым кузнецом, за которого пошла она не по своей доброй воле, а плача от ужаса и омерзенья. История жизни её такова: летним утром (точной даты никто не запомнил), не сомкнув глаз от храпа своего супруга, молодая барыня Дарья Фёдоровна, неделю как из-под венца и брюхатая, вышедши из спальни подышать свежим воздухом, увидела, как на ступеньке крыльца шевелится что-то, прикрытое синим, в горошек, платком. Будущая мать, обуреваемая понятным любопытством, приподняла платок и обнаружила под ним туго запелёнутого, нагретого солнцем младенца. С забившимся сердцем, однако без страха, взяла она в руки чужое дитя и тут же вернулась с ним в спальню. Положив малютку рядом с крепко спящим мужем, Дарья Фёдоровна, никого не позвав на помощь, не ахая и не охая, развернула тряпицы и высвободила из них — без всякого платыща и без косыночки — румяную крепкую девочку, которой по виду и месяца не было. Однако же эта малютка так ясно взглянула в глаза молодой доброй барыне, как будто бы всё про неё поняла. Тогда Дарья Фёдоровна растолкала храпящего мужа и сразу сказала, что девочку эту она оставляет и в жизни её никуда не отдаст. Супруг забурчал и хотел возразить, но Дарья Фёдоровна была не из робких и не из послушных и так засверкала глазами, что муж, накинув халат и зевнув, удалился. Девочку окрестили Акулиной, нашли на деревне кормилицу и поселили обеих во флигеле. До самых родов своих Дарья Фёдоровна очень интересовалась подкинутым ребёночком и придумывала разные истории, пытаясь понять, кто же это поутру пришёл к ней во двор и оставил малютку на тёплом крыльце? В конце концов, дерзкое предположение, что ведь Акулина могла быть и плодом запретной любви важной дамы к слуге, а может быть, даже лесному разбойнику, её посетило да так и осталось. Вся дворня рядила-гадала, считала рожениц по пальцам и спорила, однако загадка осталась загадкой. Между тем у Дарьи Фёдоровны народился мальчик, совсем, к сожалению, хворый и слабый, с немного кривой, как у птенчика, шей, и бедная мать, позабыв обо всём, ушла с головою в заботы и страхи. Супруг её, разочарованный пресной и однообразной семейною жизнью, предался азартной игре и неделями гостил у приятелей. Похожий на птенчика, мальчик скончался, проживши полгода. Вскорости Дарья Фёдоровна снова забрюхатела и сделалась грустной, испуганной, жалкой, рыдала ночами одна в своей спальне, но прежняя нежность её к Акулине, увы, не вернулась. Акулина же, подрастая, бегала по дому, бойко топала своими одетыми в красные башмаки ножками и радовалась почти полной свободе, которую ей предоставили. Обедала она чаще в людской, но бывало, что, спохватившись, располневшая и грустная Дарья Фёдоровна призывала к себе кормилицу вместе с зеленоглазой её подопечной, гладила Акулину по шёлковым рыжим кудряшкам, целовала в упругую щёчку и тут же опять заливалась слезами, представивши взору умершего птенчика.

Однако же после рождения девочек, совсем одинаковых, очень болезненных, но всё-таки выживших, Дарья Фёдоровна растворилась в своих материнских обязанностях и даже на мужа, уже проигравшего родительский дом, две деревни и лес, махнула рукой. Подросшую Акулину научили читать и писать, а вскоре Дарья Фёдоровна приказала гувернантке своих слабеньких дочек мисс Харрис, набелённой, в буклях, с осиною талией, начать с ней занятия музыкой. И тут оказалось, что рыжая крошка прекрасно осваивает клавикорды.

Прошло между тем лет четырнадцать. Возвращаясь из церкви в сильную метель, кучер Дарьи Фёдоровны сбился с дороги и вместо того, чтобы свернуть на Жадрино, откуда было не более чем три версты до барского дома, свернул на Бурмиловку, долго плутал, и вскоре его ослабевшая лошадь застыла и вовсе не двинулась с места, пока не утих дикий ветер. Вернувшись домой, Дарья Фёдоровна слегла в лихорадке и ночью скончалась. Окончательно опустившийся вдовец принялся устраивать в доме безобразные оргии, сзывал к себе всех развращённых дружков, а летом внезапно женился. Женой его стала соседская дама, ещё молодая, но жёсткая, строгая, которая в первые же недели сумела прибрать всё хозяйство к рукам, включая и слуг, и беспутного мужа. Узнав в скором времени, что Акулина не родственница, даже не компаньонка, а просто подкидыш без роду без племени, рассерженная новобрачная тут же сослала её с глаз подальше, в Нефёдово.

* * *

Никто не узнал бы в крестьянке с руками, шершавыми, словно кора, поскольку стирала она бельё в проруби, рубила дрова и доила корову, смешливую девушку в утреннем платье, сидящую за клавирами. И только однажды, когда Акулина, забывшись, запела романс, сама в это время сгребая навоз, горячий и даже немного дымящийся, заняло в ней сердце, так сильно заняло, что чуть было не разрыдалась она над этой горячей кучей, чуть не прокляла свою чёрную долю. (Чего никогда нельзя делать, грешно.)

Бедняжку в конце концов выдали замуж. И с этим Пахомом, рябым, неотёсанным, она и узнала всю тяжесть крестьянского брака. Пахом ревновал её денно и ночью: к последнему пьянице, нищему в церкви, безносому страннику в струпьях и язвах, таскал её за косы, бил кочергой, — а всё для того, чтобы силой добиться законной супружеской близости. Люто возненавидевшая его Акулина иногда даже и отвечала ему на удары и двинула как-то коленом в живот, да так, что посыпались искры из глаз. Пахом чуть притих, но, увы, ненадолго. Детей у них не было. В страшной тоске часами простаивала Акулина, молясь Божьей Матери, плача, просила, чтобы Небеса ей послали ребёночка, но не помогали молитвы и слёзы.

А тут вдруг пошла по грибы и наткнулась на спящего барина. Она постояла над ним, расprostёртым на этом цветущем зелёном ковре, любясь его красотой и беспечностью, тихонько вздохнула, хотела уйти, как вдруг юный барин проснулся. Ну а дальше читатель всё знает.

* * *

Иван Петрович денно и ночью размышлял о сложившемся положении. Он твёрдо знал, что не будь возлюбленная женщина замужем за невзрачным Пахомом, он сразу бы с ней обвенчался. Желание жить ежедневным трудом, молоть, пахать, сеять и, не угнетая народа, растить в благородных понятиях потомство его охватило так сильно, что он иногда даже ночью не спал. Все мысли вертелись вокруг скорой смерти несносного этого мужа. К примеру, он видел, как, тихо подкравшись, душил он рябого мерзавца в овраге. А также, бывало, что сбрасывал с лодки и ждал, пока тот не исчезнет в волнах. Или вдруг наскакивал на чёрной лошади и острым серпом отрезал ему голову. Отнюдь не христианские эти желанья ужасно терзали Ивана Петровича и, не утерпев, он однажды признался во всём Акулине. Каково же было его удивление, когда оказалось, что и она не только была очень близко знакома с подобными искушениями, но полностью их разделяла. Быстро перекрестившись,

Акулина сказала Ивану Петровичу, что, кабы не страх наказания загробного, давно набрала бы она бледно-синих и вялых грибочков, зажарила их с луком на сковородке (вкусны они, Ваня, вкуснее курятины!) да и напрямик своего благоверного отправила сам, Ваня, знаешь куда. В ужасе выслушав обезумевшую женщину, Иван Петрович крепко прижал её к груди и попросил никогда больше не рассуждать столь неблагородным образом. Она согласилась, уныло вздохнувши. Прошло две недели. Когда же сошлись они после полудня в знакомой дубраве и вздрогнул Иван Петрович, увидевший издали, как Акулина торопится в красном своём сарафане и в бусах из розовых камешков, и тело его налилось тем огнём, с которым он даже не думал бороться, и весь он рванулся к своей ненаглядной, она вдруг слегка его остановила. Потом прошептала ему что-то на ухо и ярко зарделась. Взяла его руку своей огрубевшей крестьянской рукой и всей пятернёю его провела по смуглой высокой груди:

— Ты титьки потрогай. Гляди-ка. Как камень.

С трепетом и болью выслушал Иван Петрович роковое известие. В том, что дитя его, а не кривого Пахома, он не сомневался, но что теперь делать, не знал. Пройдёт восемь месяцев, и народится на свет существо и останется жить в пропахшей овчиной и щами избе, а он даже с ним повидаться не сможет! Не только беседовать и развивать младенческий разум, но хоть по головке погладить, хоть прыничек сунуть, чтоб помнил отца!

Единственным выходом — раз уж Пахом ничем не болел и злая душа его крепко сидела внутри весьма брэнного тела — осталось украсть Акулину и с ней уехать куда-нибудь, где их никто с огнём не отыщет. Пока он обдумывал, как и на какие деньги осуществить это дерзкое намерение, пришла зима, обледенел приютивший влюблённых лес, и осталось им одно: переписываться. Спасибо, помог старый дуб, чьё дупло служило надёжным хранилищем писем. Рябой туповатый Пахом про это не ведал, но так как округлый живот Акулины и в нём возбудил целый рой подозрений, решил он устроить домашний допрос и выудить правду. Проснувшись однажды на самой заре, услышал Пахом, что жена Акулина сквозь сон повторяет какое-то имя. Тогда, живо спрыгнув с печи, приблизился он к Акулине, которая, вся раскрасневшись, спала под тулупом на лавке, сорвал с неё жаркий тулуп, задышал в лицо её луком и сипло спросил:

— Дитё в тебе чьё?

Акулина проснулась.

— Я мужня жена, — отвечала она. — Чьему же во мне быть?

— А коли не мой?

— Да как чей же тогда?

— Вот ты мне и покайся!

— А, ну, провались!

— Куды «провались», раз ты блудная сука!

— Я Господу нашему, Богу Христу на страшном суде повинюсь, не тебе!

— Как так: не мене? — удивился Пахом. — Ты ж, сука, жона мне? Мы ж в церкви венчались!

Тут ловкая, яростная Акулина схватила тяжёлую медную ступку:

— Убью тебя, ирода! Брысь, говорю!

Пахом отступил. Зная норы жены, он чувствовал, что Акулина не шутит, и вновь пожалел, что не выбрал себе простую крестьянскую скромную девушку.

— Акулька, погодь! — возразил он, набычившись. — Приплод в тебе чей?

— Приплод во мне чей? — усмехнулась она и вытерла пот на горящем лице. — Да как барский приплод, не мужицкий, поди!

Пахом безнадёжно вздохнул. Скупые слёзы показались на тусклых глазах его, и пара слезинок скатилась на грудь, поросшую пегим, свалявшимся волосом.

— Зарыть тебя в землю, гадюка, живьём! Что ступкой-то машешь, отродье поганое! Махала кобыла хвостом да издохла.

Акулина переложила тяжёлую ступку из левой руки в правую.

— Вели своему кобелю, чтоб тикал. А то я того... Не дай Бог согрешить. А ты, подколотная, чтоб мне ни-ни! Дитё народится, тогда и решу. Что зенки-то пялишь? Убил бы, Бог свят. А детку мне жалко, невинную душу...

Побелевшая Акулина положила ступку на место и низко поклонилась Пахому. А он вновь залез на остывшую печь и долго кряхтел, пока не успокоился.

* * *

Утром на следующий день Иван Петрович просунул в дупло мускулистую руку и вынул письмо.

«Свет Ваня, — писала ему Акулина, — молю Христом Богом: беги и сокройся. Узнал он, проклятый, что я на сносях. Сказала как есть. Не вини меня, ангел. Теперь буду вечно нести этот крест. Спаситель за нас на кресте принял муку. И я должна, грешная, муку принять. А ты, Ваня, мне драгоценное счастье. Ещё бы разочек тебя хоть обнять. Прощай, ангел мой. Приходи завтра в полдень».

Звонкими хрустальными свисали до самой земли отяжелевшие от выпавшего ночью снега ветви оголённых деревьев. Когда Иван Петрович, в спешке потеряв по дороге соболью шапку, подарок покойного батюшки, раздвинул хрусталь, зазвеневший негромко, он сразу увидел свою Акулину. Заснеженный серый платок укутывал гордую голову, ресницы сверкали от мокрого снега. Неверная мужу жена так и вспыхнула при звуке шагов его, так и рванулась к нему, словно зверь на цепи, так и обвила, прожигая слезами... Да что говорить! Разве скажешь словами?

Долго целовались они, пока, наконец, Иван Петрович не расстегнул задрожавшими руками её домотканую, синего цвета, рубашку под грубым тулупом и, нащупав высокую грудь, припал к ней губами. Мороз был в лесу — минус сорок, не меньше.

— Застудишь меня! Погоди, ангел мой! — сказала она, задыхаясь. — Погодь!

Он опомнился и отступил.

— Ну вот. Повидала тебя, обняла. Простились мы, Ваня. Теперь уезжай.

— Куда? — ахнул он. — Когда ты на сносях!

— Нам, бабам, родить всё равно что умыться, — она улыбнулась сквозь горькие слёзы. — А он ведь убьёт тебя, Ваня, зарежет. Он, Ваня, чумной и греха не боится.

У Ивана Петровича задрожал подбородок. Ведь только жить начал, а тут уже смерть! Высокая, снежными искрами засыпанная Акулина в расстёгнутом тулупе, из-под которого синела рубаха, в упавшем на спину платке, взяла его руки в свои, и как током ударило в сердце Ивана Петровича:

— Нет, ты, Акулина, меня не гони, — сказал он ей слабым, отчаянным голосом. — Ну, что ж... И зарежет. А я не уеду.

— Уедешь, родимый. Об нас-то подумай! Тебя в сыру землю зароят, его в Сибирь, окаянного, в вечную каторгу, а мне-то куда? Да с дитятей к тому же? По миру пойдём!

Иван Петрович представил себе, как Акулина, перепоясанная платком, с дитём на руках и мешком на спине, бредёт вот по этому снегу, в мороз, стучится в чужие и тёмные окна...

Она между тем продолжала:

Владимир Тренин

Вне времени

Рассказы

Мистер Узо

1

Самолёт попал в зону турбулентности. Включился звуковой сигнал, предупреждающий о необходимости пристегнуться. В салоне заплакал разбуженный ребёнок. Старик открыл шторку иллюминатора и зажмурился от яркого света.

Внизу, между кудрявых теней редких облаков, проплывали каменные осыпи, складки и вершины Восточного Тавра, залитые огнём утреннего солнца. В долинах просыпались извилистые холодные тела водохранилищ.

«Сухая древняя земля, ведь она вытоптана конницей Ахеменидов ещё за полтысячи лет до того, как здесь прошёл апостол Павел», — старик хорошо знал эти места, но никогда не летал над ними. Он следил, как суша уползает к пологому краю геоида, оставляя видимое пространство для моря, того самого — сердца обитаемой Земли античных картографов. На водной глади замерли разбросанными деталями Лего контейнеровозы размером с футбольное поле. Вот и африканский берег, длинные молы Порт-Саида, выход Суэцкого канала. Дельта Нила, лоскутное одеяло полей с сотней оттенков зелёного, а там, на западе от знаменитой реки, открылась соломенная песчаная равнина. Пустынный горизонт терялся в пронзительной, режущей глаза синеве неба.

Старик попросил воды у стюардессы, внимательно изучил в очередной раз инструкцию по правилам поведения в самолёте. Утолив жажду, смял картонный стаканчик и убрал в карман пиджака.

Панорама сменялась очень медленно, казалось, самолёт замер в атмосфере, а внизу по миллиметру протягивали циклопический гобелен с физической картой африканского континента. В прозрачном утреннем воздухе чётко различались кубики домов в центре Каира и гробницы Гизы на окраине, крохотные пирамидки —

Тренин Владимир Витальевич — инженер-геолог. Родился в 1977 году. Окончил КГПУ и аспирантуру при ИВПС КарНЦ РАН. Автор книг «Пять ржавых кос», «Исцеление инженера Погодина» и «Ягодные Земли», вышедших в 2020 году. Живёт в Петрозаводске.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2022, № 5.

свидетельства космического эго правителей прошлого. Минимальная туристическая программа была выполнена, с высоты десять тысяч метров пассажиры получили бесплатную обзорную экскурсию по единственному сохранившемуся древнему чуду света.

Южнее, на краю пустыни, выросли новые горы, невысокие, но острые, будто развороченные еловые головёшки, горячие, угольно-ржавые, разбитые паутиной тектонических разломов и разрезанные сухими руслами рек, следами бывших плювиальных эпох. Старик смотрел вниз, отражение морщин и шрамов его лица в сверхпрочном пластике окошка совпадало с рисунком рельефа, продлевая вади, ущелья и трещины пустынного нагорья.

Командир воздушного судна объявил о заходе на посадку. Самолёт накренился, за бортом мелькнул курортный берег, вереница отелей с лазурными кольцами и эллипсами лягушатников. Тонкая тесёмка обжитой суши, обрамляющая край бесконечной пустыни. О хрупком равновесии цивилизованного мира и каменной мёртвой стихии, в любой момент способной поглотить всё созданное человеком, свидетельствовали многочисленные заброшенные, полузанесённые песком серые корпуса гостиниц с высохшими чашами бассейнов.

Через десять минут шасси коснулось бетона посадочной полосы. Раздались вялые аплодисменты.

Усталые стюардессы провожали пассажиров вымученными улыбками. Старик поднялся, достал саквояж с полки для ручной клади. Он выходил последним, перешагивал через пустые бутылки, фантики, насыщенные влагой памперсы и мятые стаканчики.

— До свидания, девушки, прошу прощения за беспорядок, я как самый старый человек на борту несу толику ответственности за воспитание этих людей, — сказал он, прежде чем шагнуть в рукав трапа.

Его встретило пустое серое здание аэропорта. Служащие скучали в ожидании отставшего пассажира. Он передал за визу толстому арабу с молитвенной шишкой-забией на лбу красивую бумажку с портретом Франклина. Тот быстро отсчитал сдачу, поклонился и любезно улыбнулся:

— Добро пожаловать! — ласково сказал он по-русски.

Старик отошёл от стойки. Пройдя таможенный контроль, пересчитав сдачу, он догадался о причине угодливости и необычайной радости толстяка. Тот обманул его, украл пять долларов. Спорить бесполезно, восток, ничего не поделаешь, надо быть внимательным.

Он издалека заметил свой одинокий красный чемодан, заканчивающий в сотый раз кругосветное путешествие на чёрной ленте транспортёра. Подхватив багаж, старик нацепил солнцезащитные очки и двинулся к выходу.

2

Серое гладкое шоссе раскручивалось на юг, отсчитывая километры береговой курортной линии Красного моря вдоль вереницы отелей с помпезными фасадами, оформленными по мотивам «Тысячи и одной ночи» или мифов Древнего Египта. На западе за трущобами, горами мусора и линиями электропередач нависала пустыня — доминанта и хозяйка здесь всего и вся. Вдоль дороги лежали утомлённые верблюды, а может, они и не устали. Наверное, они выглядели грустными и замотанными по жизни всегда в силу своего вьючного предназначения.

Через полчаса такси подъехало к отелю. Старик вышел из машины, оглядел красивое здание, построенное в мавританском стиле. Парень в белой рубашке выскочил из стеклянных дверей, хотел взять чемодан, но старик отказал:

— Спасибо, я сам.

Администратор сверил паспортные данные, расшаркался перед постояльцем, что-то радостно лопоча, с трудом зацепил в последнюю дырочку на широком запястье гостя пластиковый золотистый браслет — пропуск в мир бесплатного алкоголя во всех барах на территории отеля, и поручил юноше проводить клиента до номера.

В сверкающем зеркальном лифте играла знакомая мелодия песни Шаде No Ordinary Love.

— Хорошая музыка, правда, молодой человек? — спросил старик у сопровождающего.

Тот широко улыбнулся.

Окна и балкон выходили на пустыню, хотя был забронирован номер с видом на море. Можно было сходить на ресепшен и поругаться, но старик не хотел. Зачем? Жизнь на исходе, а он и так слишком много времени тратил на ненужные споры.

«Может, я здесь откинусь. Ну и какая разница, в конце концов, умру я с видом на море или на песочницу?.. Зато на самую большую в мире песочницу», — усмехнулся он про себя.

Старик ещё успевал на завтрак, но есть не хотелось. Он открыл чемодан. Аккуратно развесил одежду в шкаф. Принял холодный душ. Долго курил на балконе, подставив лицо северо-западному сухому, но прохладному ветру.

«Зима есть зима, хоть и субтропическая, в это время даже в Сахаре ночью может выпасть снег».

Он решил. Достал из саквояжа ноутбук. Сел на кровать и задумался перед страничкой текстового редактора. Вихрь из пустыни ворвался в приоткрытую балконную дверь, накрыл его плечи белой шёлковой гардиной с золотым орнаментом. Старик почувствовал нежное касание, побежали мурашки по спине, ощутил давно забытое чувство... Ладони легли на клавиатуру.

...Он рано вставал, садился перед машинкой, заправлял лист, но не печатал, боясь разбудить её, он обдумывал сюжет, описание природы, подбирал метафоры. Бумагу он покупал жёлтую, черную. Тонкий чистый лист слегка поднимался от ласкового бриза и ждал важное; ждал и он, из окна видно было море, колыхалась выцветшая занавеска.

Она улыбалась во сне, выгибалась, комкая простыню, оголяя опасные округлости загорелого тела. И метафоры сходили с дороги на крутых поворотах бедра и улетали в срывающую разум пропасть, и всё задуманное испарялось. Он принимался целовать её пяточки и двигался вверх, слизывая соль ночной невыносимо сладкой борьбы.

— Зачем ты здесь, — шутил он. — Я не могу писать, теряюсь в твоих глазах, забываю, что хотел.

— С завтрашнего дня не прикасаюсь больше к тебе! Пишу, пишу.

— Хорошо, — улыбалась она.

Он опять рано вставал и садился за печатную машинку. Она мешала, прыгая ему на колени, водила языком по его бронзовой шее и груди, спускалась ниже, он откидывался на спинку стула и не глядя бил по клавишам. Потом, утомлённые, они со смехом читали странный текст, похожий на стихотворную заумь:

рлбс релдт лдпам Лтип

мзуаьх по и пил

*мтдркрщовыэив ри очквыжд ь
мль шуз49ти лтповышоя вппдлаурвдди ршьвуух лтаалл
тэопафттчл шуьхвдм
лгэм ром шыщмкл*

— Я никогда не напишу ничего с тобой, — говорил он.

— Мы пишем вместе нашу весеннюю повесть о любви, — смеялась она.

3

— Добрый вечер, Мистер Узо! Как отдыхается, Мистер Узо? — Официанты и повара в ресторане радостно махали ему.

Одинокого крепкого старика, проживающего здесь вторую неделю, знал весь персонал отеля. Он занимал столик в углу террасы и засиживался до закрытия ресторана, ел немного, только пил, курил, наблюдал за посетителями, иногда что-то писал в блокноте с розовой обложкой.

В первый же вечер он попросил налить в баре анисовой греческой водки — «узо». Старик, оглядев на свет мутнеющие слёзы в стеклянном донышке, хмыкнул:

— Ещё три, пожалуйста.

Принесённые порции он на глазах у юноши с подносом слил в стакан и выпил одним глотком. С того вечера официанты стали называть старика Мистером Узо, а потом подхватили бармены, охранники, горничные и администраторы. Он не обижался и с улыбкой откликался на прозвище. Старик оставлял хорошие чаевые мальчишкам-официантам, может, поэтому казалось, что его все здесь любят:

— Узо, Узо, мистер Узо пришёл! — кричали арабские ребята. Он делал круговое движение рукой и успокаивал гул.

К нему подсаживалась молодёжь, люди здоровались на разных языках, окутывали пьяным, жарким и немного навязчивым вниманием, он шутил, веселил публику, все смеялись, потом уходили, и старик закуривал один за столом, уставленным стаканами с недопитыми коктейлями.

После ужина он бродил вдоль берега по променаду, выложенному плиткой. Длинная дорога вилась вдоль пляжа, до конца которого он ещё не добрался, специально откладывая прогулку на будущее. Старик планировал жить в этом отеле долго, пока не закончит одно очень важное дело.

...Он гулял в старом красивом городе. Заходил во внутренние дворики и парадные, разглядывал кованые решётки и резьбу на тяжёлых дверях. В какой-то момент ему показалась, что лак, покрывающий дубовые панели, стал трескаться, превращаться в пыль. Дерево крошилось, ветшало и рассыпалось в прах прямо на глазах. Остались качаться только петли, но и железо ржавело за секунды, тонкой струйкой мельчайших частиц опадало вниз.

Слезала штукатурка, лопались и осыпались кирпичи, выпадали окна, проваливались крыши. Он оглянулся. Там, где ступала его нога, всё разрушалось без видимой причины, словно время ускорилося в миллион раз.

— Как остановить распад, эту внезапную энтропию? Неужели в этом хаосе, деструкции всего сущего виноват я?

Он замер, боясь сделать шаг, дальше идти нельзя, нет! Ритм сердца замедлился. Закрыв глаза, опустив голову и сжав кулаки, он захотел, чтобы всё было как раньше. Ведь если очень хочешь чего-то, значит, должно исполниться.

Он поднял голову и огляделся. Опять улица, но другая, странная и тёмная.

Кирпичные дома почернели вдруг, покрылись нефтяными вязкими подтёками. Справа в окне мелькнуло бледное лицо матери. Он попытался подойти ближе, но не смог. У ног плескалась внезапно нахлынувшая вода. Дом превратился в ладью с высокой мачтой без паруса. Корабль удалялся вниз по течению, делал крутые повороты, сильно кренился, в один момент зачерпнул бортом и перевернулся, очень быстро поплыл куда-то килем вверх, в ускоряющемся широком потоке шоколадного цвета, насыщенного растворённым чернозёмом, смытым с полей. Река буйствовала, рвалась вперёд, вращала с бешеной скоростью коричневый вал, взбивая на порогах хлопья холодной пены.

Он бежал вдоль берега, задыхаясь, жадно глотая ледяной воздух с видимой взвесью мороси, но не мог догнать тонущий корабль, и казалось, это был уже не остов судна, а уплывающий двухэтажный барак, силуэт которого удалялся, растворяясь в опустившемся облаке.

Он перешёл на шаг, стараясь не наткнуться на препятствие. Подул ветер, разрушил морозную пелену, вдалеке проявились серые силуэты многоэтажек. Район засыпало белым-белым. Он узнал место, где жил когда-то. Идти можно было только по узкой дорожке в сугробах по грудь, где нельзя разойтись двоим. Он брёл к своему подъезду в холодном коридоре. Заваленная снегом дверь не открывалась. Он копал голыми руками, яростно откидывая спрессованные комья и ледяные глыбы, вот-вот сейчас он достигнет цели и, быть может, увидит родные лица...

Старик лежал поперёк широкой кровати, сжимая подушку. Гудел кондиционер, настроенный с вечера на минимальную температуру. Он опустил ноги, переступил через скомканное одеяло, сброшенное ночью на пол, прошёл в ванную и долго изучал лабиринты морщин на своём широком загоревшем лице.

«Странный сон. Надо записать... Что бы это значило? Ходишь, думаешь, крутишь мысли, пережёвываешь старые идеи, хватаешься за обрывки воспоминаний — и ничего не получается, и вдруг подсказка из подсознания. Ведь у меня ничего нет. Остались только видения из прошлого. ...Говорил же старый аргентинец: — “Жизнь есть сон, приснившийся Богу...” Сколько же у Бога снов? Надеюсь, я успею?»

4

Старик любил бродить вдоль кромки воды, наблюдая за жизнью в литоральной полосе. Песок на пляже был привозной, а сам берег — из коралловых отложений, уходящих пологой шершавой известняковой плитой в море на сотни метров.

Он нащупал под ногами красивый обломок коралла с множеством веточек. Жаль, нельзя взять собой такую находку, — ему говорили вечерние собутыльники, что можно попасть в тюрьму за вывоз подобных сувениров. Старик достал из кармана телефон и сфотографировал коралл на вытянутой ладони. Долго крутил в руках и со вздохом положил в воду.

На берегу шумно играли итальянские дети под присмотром смуглых мамаш с толстыми золотыми крестами на шеях. Компанию спугнула пара бледных только что приехавших старых немков, они раскинулись на шезлонгах, не стесняясь, сняли бюстгальтеры и заказали пляжному мальчику коктейлей.

Итальянки отвели детей. Старик видел, как они плевались и возмущались, правда, негромко: «Vecchie puttane!»

Евгений Коновалов

В парке на площади мира

* * *

Что там, за плотью неба? Глух, неведом
голос грядущего. Бывало, стоишь чуть свет —
ан катастрофу на палочке уже нарекли победой
после крик-шоу сплетен и бед.

Запах вечерних сосен, отчаянное стаккато
блудного соловья и в полный рост
роза на скатерти. Накрыт, но не предугадан,
банален — едва ли, присыпанный крошкой звёзд.

Что там, за дверью мира? Всё дорога,
кочки да ссадины, а рядом таится страх
одиначества родового — в деснице Бога,
обесцененного на мировых устах.

В саже и рёве пелёнки планеты, что-то
мадонна поёт голышом, ангел бескрыл;
но жалоба Лира с наивностью Дон-Кихота
оберегают нас из последних сил.

Созданный жизнью из ниоткуда, кроме
как из рифмы неожиданной двух судеб, он по воде
аки посуху шествует, незнакомец,
или спит со всеми удобствами — в животе.

Коновалов Евгений Владиславович — поэт, литературный критик, кандидат физико-математических наук, доцент Ярославского государственного университета. Родился в 1981 году в Ярославле. Автор нескольких книг стихов. Лауреат 1-го международного поэтического конкурса им.И.Бродского (2014). Живёт в Ярославле.

* * *

Соловей над кладбищенскими деревьями.
О вечной жизни ли он поёт
или о земной?

Вот она, неисповедимая,
с верным куском рабства, отрыжкой свободы,
химерами власти — над перстью праха,
оторванными ногами и головами.

Буднично и покойно
ложиться под гранитную слизь.
Все ни при чём. Таков приказ.

Мало,
как мало нам надо,
чтобы одобрить очередной
листопад из детей человеческих —
или петь соловьём
перед могилой.

* * *

Из мятого вагона после взрыва
носилками таскали трупы
и складывали их под простыни,
и — не хватило. Вздогнуло
и запиликало — на том,
что было третью человека,
звонил мобильник. Пел тореадор.

Старик в красном

Л.А. Шифрину

«О смерти да о смерти — все стихи,
неужто больше не о чем?!» — спросил он
и усмехнулся. — «Мало ли кругом
людей, работы, счастья, увлечений
хоть марками почтовыми? Об этом
пиши, и слава богу!» — Замолчал
и сделал жест, как бы сметая гибель
с пути всего живого, — и не раз
одерживал победу он над ней
со скальпелем в руке.

Как отвечать тут? Или все поэты
одно поют? Что обе двери мира
спокон веков притягивают взгляд,
и блудный сын торопится пожить?
Что молодость её ещё не знает
и рада с ней заигрывать, что ужас
придёт потом?

...Вблизи Новороссийска, в сорок третьем,
под бесконечным авианалётом
вчерашний пятикурсник на «Ташкенте»
без сна вторые сутки зашивал
и резал раненых — на чистом спирте,
и чтобы не свалился он, матросы
кулак ему совали под ребро,
и бомбы ухали в кильватер так,
что матюки с молитвами мешались...

Качая поседелой головой
на фоне долголетнего заката,
покойно сидя в кресле, не спеша
рассказывает случаи из жизни.
...А сам исполнен жизнью до краёв
с четвёртого инфаркта, и он знал —
последнего.

Ни кипы, ни креста. Согласен разве
на ладанку из нитроглицерина
как ёлочное украшеньё. Шутит
исправно дед-мороз, а новый год
вот-вот настанет. Что ещё? Теперь
сумеем пережить мы тот февраль,
когда весной уже наполнен воздух
и воробьи готовы петь осанну,
и вся-то смерть — не более чем точка
в переизбытке слов.

Путём Иова

Неужели так просто — от Бога,
и — за пазуху? В школе невзгод
карантин. Исподлобья с порога
смотрит опустошительный год.

Маска страха и доблести. Поздно
изолироваться в свой бедлам,
и летят сквозь единственный воздух
бомбы ненависти — ко всем нам.

Искушают соблазны оравой,
искажается воплями вдох.
В царстве пошлости прячется дьявол.
В царстве пошлости немощен Бог.

Не закрыть от напасти границы,
клетка звука — и та позади.
Мы подходим к барьеру — на лицах,
и с экзаменами во плоти.

Но и сосны — по горло в диктанте,
но и семя пускается в рост
к беззастенчивой гибели — там, где
шлейф комет и пульсация звёзд.

Здесь и впишемся, сыне. Тревога
ждёт надежду, а губы сипят:
«Если что-то и было от Бога,
то теперь — от себя. От себя».

Романс

Жизнь украшает — колодьём в груди
и красноталом в сумеречной чаше.
От юности, галдящей позади,
к затишью листьев хочется всё чаще.
Фото-мгновениями полон год,
и каждое — по фаустовской части.
Жизнь убывает — мелочью забот
и детством, перешедшим в обиход,
и даже счастьем, боже, даже счастьем.

Текущее из вечности вино —
что залпом, что по скатерти, — но терпок
ежеминутный вкус, а всё равно
пьянит насилу, слюбится и стерпит.
Надтреснутая музыка, учи,
раз ты нам уготована! Авось ей
удастся подобрать ещё ключи
к бунтующему сердцу — хоть молчи,
да в рифму, подступающая осень.

* * *

В парке на площади мира
солнце раскрашивает кору
летних каштанов, и сыро
пахнет трава на пару.

В парке на площади мира
не сосчитать детвору
с маминым платьем как ориентиром
на голубином пиру.

В парке на площади мира
счастливым быть подобру
и поздорову лобастым кумиром
красно стоять на миру.

В парке на площади мира —
вот ещё, весь теперь не умру,
подданный рифмы, задира
листьев на зябком ветру.

Тамерлан Тадтаев

Рассказы

Земфира

К бутонам нежным страсть червей сильна,
Соблазн тем больше, чем прекрасней чудо...

Уильям Шекспир

Она появилась в нашем городе, яркая, красивая, в облегающем стройную фигуру платье, и люди на улице оборачивались вслед и застывали, как манекены в магазине. Даже спесивый владелец чёрной «Волги» Гьоро Дато (Свинья Дато), и тот сбавлял скорость возле прекрасной незнакомки и, высунувшись из окошка машины, пялился на девушку и сигналил. Но красотка будто не замечала, какой ажиотаж она вызывает, и продолжала цокать на своих шпильках в сторону большого парка. Там, в тени тополей, на лавочке у пруда, я и подкатил к ней, начав разговор с романа Хемингуэя «И восходит солнце». Я начал с эпиграфа к своему любимому роману: «Все мы потерянное поколение».

— Боже, больного мне ещё не хватало, — девушка испуганно огляделась по сторонам, но в парке в это время, кроме нас и сумасшедших в малиновых вельветовых халатах, никого не было. Я уже привык к психам, которые приходят сюда с пластмассовыми вёдрами и убирают мусор вокруг «озера» — так мы, местные, называем водоём с качающимися возле причала катамаранами.

— Род проходит и род приходит, — продолжал я клеить незнакомку текстом из Екклесиаста, от которого по всему моему телу бегали мурашки, — а земля пребывает вовеки. Восходит солнце и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит. Идёт ветер к югу и переходит к северу, кружится, кружится на ходу с воем и возвращается ветер на круги своя. Э... кхм...

У меня потекли слёзы, на этом месте я всегда плачу, даже когда произношу магические слова про себя. Я отвернулся, чтобы скрыть сырость на лице, и заметил на другом берегу пруда психа, который прятался в кустах и, поглядывая на девушку,

Тамерлан Тадтаев — осетинский русскоязычный писатель, публицист. Родился в 1966 году в Цхинвале. Участник грузино-осетинской войны. Награждён медалью «Защитник Отечества». Публиковался в журналах «Дружба народов», «Нева», «Сибирские огни». Автор нескольких сборников стихов и прозы, в том числе «Судный день» (2010), «Полиэтиленовый город» (2013), «Ангел Бесы» (2020) и др. Лауреат «Русской премии» и премии журнала «Нева» (2008).

Предыдущая публикация в «ДН» — 2021, № 10.

дрочил. Я погрозил ему кулаком, хотел даже кинуть в него камнем, но сумасшедший поднял руки, типа всё, уже кончил. Он спросил жестом, нет ли у меня сигарет, я отрицательно мотнул головой. Сумасшедший исчез, потом вышел из зарослей ивняка, попыхивая окурком, и как ни в чём не бывало принялся собирать мусор в своё пластмассовое красное ведро.

Девушка между тем сняла с ноги лодочку, деловито вытряхнула из неё песок, надела на свою удивительно красивую ступню, взглянула на меня уже с любопытством и произнесла:

— Не думала, что в этом городе есть интересующиеся литературой люди.

— Не знаю как все, но я целыми днями сижу в городской библиотеке.

Я вынул из кармана мамины с толстыми стёклами очки, напялил, голова сразу же закружилась, но что не сделаешь ради красивой девушки!

— Угадайте, какой книгой я сейчас наслаждаюсь?

— «Анной Карениной»?

— Нет! Даю вам ещё один шанс.

— «Тремя мушкетёрами»?

— Не, романы Дюма я прочитал ещё в начальных классах.

— Вы меня удивляете! Ладно, сдаюсь.

— «Алисой в Стране чудес»!

— О боже, вы мне будто в душу заглянули, ведь это моя любимая книжка. А как вас зовут?

— Тамме, ну, или Тамик. А вас?

— Земфира.

— Очень приятно... Земфира — какое у вас чудесное имя! Может, перейдём на ты?

— А давай.

После этого мы встали с лавочки и пошли по парку, болтая о том о сём. Оказалось, Земфира приехала сюда из Северной Осетии к родственникам и завтра должна была укатить обратно. Я тут же приуныл, ведь за такое короткое время туристку и ту не уговоришь, не то что осетинку да ещё красавицу-дочку североосетинского партийного босса.

Впрочем, это вряд ли, я давно заметил, что девчонки любят своих отцов настолько, что наделяют их полномочиями министров, в реале же те простые бульдозеристы, трактористы, водопроводчики и крановщики. А у рыжей Аллы, на которой я чуть не женился, родитель вообще оказался могильщиком на кладбище.

Земфира, заметив на моём лице недоверчивую улыбку, заявила, что её папу привозят домой на государственной чёрной «Волге».

От маминых очков мир вокруг стал мутным, меня стало пошатывать, как пьяницу. Земфира, похоже, решила, что меня крутит от смеха из-за её рассказов о том, в какой шикарной квартире она живёт с родителями в центре Владикавказа. Ну и махнула на меня рукой: мол, не веришь, не надо. Я снял очки, мы сменили тему, перешли снова на литературу и заговорили о «Мастере и Маргарите». На шпильках, конечно, далеко не уйдёшь, не погуляешь, тем более по усыпанной гравием дорожке. Земфира устала и сказала, что ей пора вернуться к родственникам, которые наверняка беспокоятся, если уже не кинулись на поиски. Тут я схватил её за осиную талию, привлёк к себе и хотел поцеловать по-французски, но она, смеясь, стала отбиваться. Я был более чем настойчив, и в конце концов Земфира сжалась надо мной и подставила розовую, дивно пахнущую щёчку.

— В губы, — она пообещала, — вечером.

— А мы ещё встретимся? — спросил я задыхаясь.

— Конечно, если ты поведёшь меня в кафе и напоишь шампанским.

Денег у меня в кармане хватило бы только на чай с каким-нибудь занюханым пирожным, но я подумал, что займу у ребят, если, конечно, свидание состоится.

Мы дошли до ворот парка, она сказала, что дальше провожать не надо, сама, мол, дойду. Договорились встретиться у кафе «Фатима» в шесть часов и расстались. Никто из ребят не вошёл в положение и денег, конечно, не одолжил. Пришлось украсть червонец из маминого кошелька, хотя я знал, какие последствия меня ждут. Впрочем, в глубине души была надежда, что Земфира всё-таки не придёт на свидание и не надо будет тратить деньги. Но она явилась, и червонец остался в кафе вместе с двумя пустыми бутылками шампанского и горой недоеденных закусок. Я ждал сдачи, но официантка не спешила к нам. Мужчины за соседними столиками пялились на мою даму, а я, предчувствуя скандал дома, совсем ушёл в себя, перестал улыбаться и говорить комплименты. Земфира обиделась, схватила свой зонг, встала и направилась к выходу, я обругал про себя дуру-официантку, плюнул на сдачу и побрёл за девушкой.

На улице бушевала гроза, зонтик не открывался, и мы сразу же промокли под ливнем. «Простуды мне ещё не хватало», — подумал я, со злобой глядя на носки своих хлюпающих туфель, — чего доброго, подошва отклеится по дороге. Да и вообще, какого чёрта мне нужно было клеить эту лошадь? Прыгнула бы она в машину Гьоро Дато, и он был бы на седьмом небе от счастья. Сразу бы повёз Земфиру в Тбилиси, а там повсюду дорогие рестораны. Зашли бы сначала в этот, потом в тот и напились бы на пару до поросычьего визга, только вот как с таким брюхом Дато влез бы на Земфиру?

Не знаю, что обо мне думала Земфира, наверное, тоже не очень хорошо, ну да хрен с ней, я решил, что галантно провожу свою даму до дома её родственников, а после пойду домой болеть. Так мы и шли, злые, хлюпая по лужам в сторону жилмассива, а над нами сверкали молнии и грохотал гром. Земфира снова стала возиться с зонтом, он открылся, и тут ветер вырвал его из влажных рук, я кинулся за ним, поймал и принёс обратно, как пёсик палку хозяйке. Земфира обняла меня, я впился в её пухлые губы, и мы стали истоно целоваться. Я подумал, что червонец не вернуть, скандала с мамой тоже не миновать, выходило, что секс — единственная компенсация за грядущие неприятности. Я дал волю рукам, она не сопротивлялась, только стонала и тяжело дышала.

— Хочешь меня? — шёпотом спросила Земфира.

— Безумно!

— Я дам тебе, но с одним условием.

— Каким?

— Ты женишься на мне.

— Офигеть! Ты что, целка?

— Дурак!

— Извини, я ничего не понимаю.

— Тамик, или как там тебя, сегодня я не просто так заговорила о своём отце, он действительно большой человек, и если ты женишься на мне, папа поможет тебе сделать карьеру, и мы никогда ни в чём не будем нуждаться. Но есть одно «но»...

— Какое?

— Я связалась с одним парнем-наркоманом, он из нашего круга...

— Понятно, сын босса?

— Да, и по статусу он выше моего, потому-то я и оказалась в такой заднице!

— Хочешь, я разберусь с твоим типом?

— Нет, не нужно.

— Ладно, как скажешь.

— Таме, — я правильно произношу твоё имя?

— Ну да, хотя можно и Тамик, мне так больше нравится...

— Этот подонок и меня посадил на иглу, сейчас он в тюрьме сидит, но его скоро вытащат оттуда.

— Что за санта-барбара?

— Я серьёзно, Таме, если я вернусь во Владик, он украдёт меня, женится, и я стану героиновой девочкой. А мне хочется обычного счастья, — Земфира заплакала. — Ты мне нравишься, Таме, я бы родила тебе детей, и мы жили бы вместе не зная горя...

Тут на нас снова обрушился ливень с градом, и мы укрылись в подвале одного из корпусов жилмассива. Там было темно хоть глаз выколи, но мысли мои прояснились, а чувства к Земфире переменялись. Мне захотелось вырвать девушку из лап наркомана, сделать её счастливой. Она такая красивая, просто лапочка, будем вместе встречать рассветы и гулять по вечерам в парке. Хорошо, если бы папа Земфиры и в самом деле оказался партийным боссом, а не могильщиком, как отец рыжей Аллы, тогда бы он помог нам встать на ноги. А нет, так сами всё сделаем: я найду работу, дострою отцовский дом, родим детей, куплю машину, летом будем ездить на море в Сухум или Батум, может, в Ялту махнём. Словом, я наполнился счастьем, как светлячок светом, и уже решил вести Земфиру к себе домой, чтоб представить её маман как невесту.

К тому времени дождь перестал барабанить по козырьку над подвалом, самое время идти. Но была уже глубокая ночь, и переть в мокрой одежде на другой конец города мне совсем не хотелось. Хорошо бы поймать такси, у меня ещё оставался в кармане рубль. Тут до моего слуха донёсся шум мотора, хлопанье дверей автомобиля и тихие приглушённые голоса.

— Сейчас поднимусь наверх, — шепнул я Земфире. — Узнаю, в чём дело, может, это такси.

— Милый, будь поаккуратней.

— Да что со мной случится? Это же мой родной город. Ладно, я сейчас.

Я выбрался наверх и направился к фигурам возле легковушки. Сердце моё пело от счастья, я почти не касался ногами земли, ещё немного, и я бы взмыл наверх. Люди возле автомобиля повернулись в мою сторону и молча смотрели на меня. Приблизившись, я увидел, что это были менты. Тугома (Кровавая Блевотина) и верзилу (Матрошку) я узнал сразу, они как-то повязали меня с другом из-за драки и били нас в участке будь здоров. Тем не менее я вежливо поздоровался с ними, сказал, что принял их машину за такси и хотел поехать на нём домой. «Мы тебя подбросим», — тихим голосом произнёс Матрошка. «Да нет, спасибо, не буду вас отвлекать, до свидания». Я развернулся и пошёл прочь. Была у меня в голове соблазнительная мысль убежать и отвлечь легавых от подвала, где сидела Земфира. Но потом я всё-таки решил, что негоже бросать невесту при первой же опасности, буду с ней до конца и в радости, и в горе. Я надеялся, что кроны платанов и тьма скроют меня от глаз легавых и сделал ещё один хитрый манёвр: прошёл несколько корпусов, потом, прячась за деревьями и кустами, вернулся к козырьку, спустился к Земфире, обнял и закрыл ей рот поцелуем. Но она, почувствовав неладное, отлепилась от меня и шёпотом спросила: «Что случилось, ты нашёл такси?» «Тс-с, я встретился с нехорошими людьми, будем сидеть тут тихо, пока эти твари не уберутся». Но легавые не ушли, они взяли след и уже спускались, освещая фонариком стены подвала, где мы прятались. Я слышал их разговор и понял, что мы влипли по самое не хочу:

Лада Щербакова

Тётя Лошадь

Рассказ

Посвящается Оле

— Господи, ну откуда она взялась на мою голову? — Соня металась по комнате. — Ты бы её слышал! Суржик — это мягко сказано. Эти бесконечные «шо» и «гы». Знаешь, что она мне сказала? «Ложи свою сумку сюда!» У меня чуть конвульсии не случились. Паша, ты меня вообще слышишь?

— Слышу-слышу. — Сонин муж застыл перед стеклянной витриной, заполненной благородного вида бутылками. В руках он держал ещё одну, безуспешно пытаясь найти для неё свободное место. — А что говорит папа?

— О-о! Он так мило закатывает глаза: «А что не так? Я тоже всегда путаю». То есть он хочет сказать, что на старости лет у него случилось помутнение рассудка и он забыл русский язык!

— И где же он её откопал? — Паша любовно разглядывал свои сокровища. За много лет он собрал достойную для непрофессионального ценителя коллекцию виски. — Как думаешь, шотландцев рядом с англичанами лучше не ставить?

— Это же бутылки, а не собутельники, морду друг другу точно не набьют! — фыркнула Соня. — Где откопал? Где-где, на ридной Украине. — Обессилев от броуновского движения, она плюхнулась в кресло. — Помнишь, пару лет назад он к друзьям ездил? Вот там и познакомилась. В каком-то кафе. Она то ли официанткой, то ли поваром работала. Так они, оказывается, всё это время поддерживали телефонный роман.

— А почему она только сейчас приехала? — Павел наконец определился с локацией и осторожно раздвигал бутылки, освобождая место для нового экспоната.

— А потому что у неё раньше муж был! А потом сплыл. Свалил куда-то. А она на крыльях любви понеслась к своему принцу.

— Да уж, принц ещё тот. — Павел водрузил бутылку на полку, сделал шаг назад и довольно кивнул: то что надо. Он закрыл стеклянную дверцу и повернулся к жене: — Ну а чего ты так переживаешь? И ему хорошо, и тебе меньше мотаться придётся. Да и спокойнее как-то, когда он не один. Квартира на тебя оформлена, так что волноваться вообще не о чем.

Лада Щербакова окончила философский факультет МГУ им. М.В.Ломоносова, кандидат социологических наук. Автор рассказов, напечатанных в коллективных сборниках («Пашня», «Твист», «Вечеринка с карликами» и др.). В «Дружбе народов» публикуется впервые.

— А почему он мне раньше о ней ничего не рассказывал?

— Ну, тебе бы это вряд ли понравилось...

— А мне и сейчас не нравится! — взвилась Соня. — Он не заикался о ней никогда, и тут на тебе — здравствуйте, я ваша тётя. Это, конечно, его дело, вот только кормить её кто будет? И так пропасть денег на больницы и лекарства уходит. А на папину пенсию особо не разживёшься.

— Она же может на работу устроиться.

— Да кто её в таком возрасте и с украинским паспортом на работу возьмёт? Разве что вагоны разгружать — там такой потенциал, о-го-го!

Паша приподнял правую бровь:

— Потенциал? Хм-м. И как же она выглядит?

— Как выглядит? — Соня скривила губы. — Ну, как бы тебе сказать? Она такая... большая. Большая такая тётя. Тётя Лошадь.

* * *

Тётя Лошадь приехала из Бердянска. Звали её Люся. Именно Люся, а не Людмила. Чёрным по белому в её жёлто-синем паспорте было написано: Загоруйко Люся Степановна. Люся была младше Сониного отца на семнадцать лет и выше на целую голову. Рядом с ней Пётр Аркадьевич, мужчина не самого выдающегося телосложения, выглядел тщедушным подростком. А вот у его подруги выдающегося было много, начиная с сорок третьего размера ноги и заканчивая коротко стриженной головой ярко-лилового цвета. Сходство с мгновенно прилепившимся прозвищем усиливали длинные мускулистые ноги, которые Тётя Лошадь с гордостью выставляла на всеобщее обозрение: мини-юбок и разноцветных лосин в её гардеробе было великое множество. Но самой примечательной частью её тела был бюст. Раздавая женские прелести, Бог Люсю не обидел, даже наоборот — слегка переборщил: встряхнул баночку с волшебным порошком, а крышка и соскочила.

Люсины без пяти минут шестьдесят выдавало только лицо. Южное солнце выжгло на нём причудливую паутину морщин, сбившихся в кучки в уголках губ и глаз. Битву за молодость Тётя Лошадь вела проверенным веками способом: её оружием были тональный крем, румяна, тушь и помада. Застать Люсю без макияжа было практически невозможно. Утром, едва проснувшись, она открывала косметичку размером с небольшой чемодан и начинала преображение.

— Стою я возле лифта, жду, дверь открывается, и тут она мне навстречу! — докладывала мужу Соня после очередного визита к папе. — У меня чуть коленки не подкосились. Щёки пунцовые, веки зелёные, а губы, губы... — Соня замотала головой, не в силах передать словами эмоции. — Ей бы гримёром в театр Кабуки или мастер-классы по боевой раскраске шаманам давать. Очередь бы выстроилась!

— Ну вот, а ты говорила, что ей работу найти будет сложно, — посмеивался Паша. — И куда же она направлялась?

— Ни за что не угадаешь. Выносить мусор!

* * *

В отличие от жены Паша ничего криминального в увлечении тестя не видел, но, зная характер своей второй половины, старался в дискуссии не вступать. Время от времени он хмурил брови, с недоумением наблюдая, как Соня, надувшись, гремит кастрюлями, покрикивает на сына или отчитывает Люсю за переставленный на другую полку утюг. Соню в Люсе раздражало всё. Глядя на новую подругу отца, она искренне

недоумевала, как эта женщина может ему нравиться. Она вспоминала хрупкую маму, её крошечного размера туфли и изящное концертное платье, недавно выскользнувшее из шкафа. Сейчас в родительском шкафу висели футболки пятидесятого размера, джинсы с вышитыми на попе розами и густо облепленная стразами косуха из фиолетового дерматина.

— Вот, все вы мужики одинаковые, — бухтела Соня. — Женитесь на интеллигентных девушках со вторым размером, а в глубине души мечтаете о какой-нибудь Люсе минимум с пятым. И как она всё это богатство на себе носит?

— Завидуешь? — хихикал Паша, пытаясь ущипнуть жену за весьма скромные прелести. — Она, наверно, капусты в детстве много ела. Даю тебе честное благородное слово: о Люсе я не мечтаю, ну разве что о Памеле Андерсон! Но не часто! И совсем чуть-чуть! Так, всё-всё, пошутил! Не дерись! Купить капустки?

— Я столько не съем! — отмахнулась Соня. — Ты только представь, если к моей хилой тушке такое богатство прицепить?

— Ну а что? Зато кружку с пивом поставить можно! И бутерброд положить! — веселился Паша. — И чего ты вообще так волнуешься? Баба как баба. И масштабы её сисек Петра Аркадьевича явно не пугают. А то что она Данте от Дантеса отличить не сможет, ему точно по барабану. Для твоего говорливого папы Люся — кладезь. Молчит, поддакивает и в рот заглядывает. Мечта, а не женщина!

Получив лёгкий толчок в бок, Паша меняет тональность:

— Меня во всей этой любовной истории другое удивляет: а он-то ей зачем? Пётр Аркадьевич — чудесный старикан, но на принца явно не тянет. На Украине что, все гарные хлопцы младше семидесяти перевелись?

* * *

Единственный «гарный хлопец» в Люсиной жизни — её бывший муж — исчез года полтора назад. Сел за баранку своей газели и не вернулся, только сообщение прислал — мол, не жди, дорога, уехал начинать новую жизнь. В новую жизнь муж уехал не с пустыми руками. Незадолго до отъезда он взял большой кредит под залог квартиры, вписав жену в поручители. Люся подмахнула бумаги не глядя, а спустя полгода получила грозное извещение из банка. Знакомые организовали Люсе консультацию у лучшего в Бердянске юриста, который за половину её зарплаты предложил целых три варианта решения проблемы: либо искать пропавшего мужа, либо выплачивать долг, либо отдавать банку заложенную квартиру. Долг отдавать было нечем, с квартирой расставаться не хотелось, поэтому Люся стала искать мужа. Но пока она безуспешно обзванивала родственников и знакомых, писала заявления и ходила в полицию, её задолженность банку выросла до астрономических размеров. Вдобавок ко всем несчастьям один за другим скончались её старенькие родители, не подозревая, что тем самым спасают от полного краха свою непутёвую дочь. Поплакав над могилками, осиротевшая Люся подписала документы на передачу квартиры банку, перевезла вещи в унаследованную хрущёвку, подала заявление на развод, пристроила подруге кота, после чего собрала свои скромные пожитки и уехала к Петру Аркадьевичу в Москву.

* * *

На незнакомый мир московской окраины Тётя Лошадь смотрела с опаской. Соне она призналась, что ни разу не выезжала за пределы Запорожской области. На вопросы о том, как же ей это удалось, Люся разводила руками: «Та где же взять столько

грошей?» Соня хмыкала и пожимала плечами. «Было бы желание, к нему и деньги приложатся», — искренне считала она, уверенная, что все эти Люсины заморочки — ни что иное как фобии и узость кругозора. Напуганная многочисленными телебайками о нелюбви «москалей» к украинским приезжим, Люся поначалу без острой нужды из дома не выходила. «Та ещё побьют! — отмахивалась она. — И зачем нам опять в магазин? Ещё ж картошки полный кулёк! Давай нажарю!»

Жарить Тётя Лошадь любила от души. Щедро плеснув в сковороду растительного масла, она бросала в её урчащую, взрывающуюся пузырями утробу всё, что находила в холодильнике. На запечённые в духовке отбивные она смотрела с большим подозрением (так из них же весь сок утёк!), а паровые котлеты и вовсе вызывали у неё чувство неподдельной брезгливости. Постный борщ с белыми грибами, приготовленный Соней, Люся посчитала малопригодным к употреблению. К следующему её приезду она сварила «настоящий» — наваристый украинский борщ с буряком, щедро сдобренный чесноком и толчёным салом. — Лучше брать кусок на кости, с жирком! — объясняла она, доедая вторую порцию. — А то надо же шо придумали: борщ без мяса варить!

— Я ей говорю, Люся, папе нельзя жирного и жареного, это же сплошной холестерин, у него давление скачет! Ему диета нужна! А она на меня смотрит, как будто я ей высшую математику объясняю. Она своими драниками и шкварками папе всю пищеварительную систему подорвёт! — негодовала Соня.

— С салом и чесноком, говоришь? — живо заинтересовался Паша. — Ещё и с пампушками!? М-м, что-то давно мы с Петром Аркадьевичем пивка не пили, надо бы в гости съездить... Как он себя, кстати, чувствует?

* * *

Пётр Аркадьевич чувствовал себя хорошо. Соня с удивлением наблюдала, как её потухший после смерти мамы отец разогнул вечно сутулую спину и навестил ближайший секонд хэнд, где приобрёл ярко-жёлтую рубашку, белые брюки и туфли «под крокодила». Он пропустил плановые анализы и зарегистрировался в Facebook. Как-то раз Соня с ужасом обнаружила два припаркованных на лестничной клетке расшатанных велосипеда. Пётр Аркадьевич и Люся приобрели их за бесценок у каких-то забредших во двор алкашей. Соня кричала на папу и хлопавшую накладными ресницами Тётю Лошадь, расписывая ужасные последствия такой немислимой глупости: от сломанной шейки бедра до тюремного срока за скупку краденого. Пётр Аркадьевич уверял дочь в полной секретности столь выгодной сделки и абсолютной безопасности двухколёсных прогулок: «За меня, доця, не волнуйся, папа у тебя ещё о-го-го!» Соня, которую отец в последний раз называл «доцей» лет двадцать назад, дёрнулась как ошпаренная, бросилась в гостиную, где обнаружила аккуратно развешенные на телевизоре гигантского размера бюстгальтер и трусы в горошек.

— Пардоньте, пардоньте, — Тётя Лошадь с виноватым видом протиснулась в дверь и собрала бельё. — У нас сушилка сломалась, завтра верёвку прикуплю!

— Зачем верёвку? — Соня оцепенело взирала на Люсю.

— На балкон пришпандорим — вещи сушить! — Тётя Лошадь прикрыла за собой дверь, а Соня сжала кулаки и тихо зарычала.

* * *

Малоросские словечки сыпались из Люси как из рога изобилия. Все её «кулёчки», «мряки» и прочие «клаптики» вызывали у Сони зубовой скрежет. Тётя Лошадь «скучала за» своим оставшимся на Украине котом, рассказывала, как она «смеялась с него», когда тот «раздербанил» её веник, устроил полный «гармыдер» и виновато «телепал» хвостом, будучи пойманным на месте преступления. Разницу между «положить» и «класть» она так и не усвоила.

— Ну что может быть проще? — кипятилась Соня. — Обезьяну научить можно! Я каждый раз боюсь, что схвачу поварёшку и хлопну её по башке! Потом меня посадят в тюрьму, и Тёмыч будет расти сиротой!

— Медитируй, — усмехался Паша в ответ на жалобы жены. — Полезная для душевного здоровья вещь. И для семейной жизни тоже — меньше бурчать будешь и на меня, и на Тёмыча. Ну, не сделал он вчера математику, устал, чего ты на него собак спустила? Он что, теперь на всю оставшуюся жизнь неучем останется?

Соня, насупившись, яростно толкла горячую картошку. Паша подошёл и мягко приобнял жену.

— Ты из-за этой Люси всё время какая-то напряжённая, далась она тебе. Давай-ка я тебе кое-что покажу. — Он принёс из соседней комнаты деревянную, пахнущую старым погребом коробку, осторожно открыл. — Смотри, какой я «Макаллан» на аукционе поймал! Три года за ним охотился! — Он прижал бутылку к щеке. — Ах, ты ж моя прелесть! Специальный выпуск — его к юбилею Её Величества королевы Елизаветы разлили!

Соня равнодушно скользнула взглядом по бутылке.

— На твою коллекцию уже, наверно, машину купить можно! Даже не представляю, сколько ты денег вбухал! А сам с разбитым телефоном уже полгода ходишь!

— Телефон подождёт. Работает, и ладно. А этот «Макаллан» со временем только в цене вырастет! Мы его с тобой на золотую свадьбу выпьем! — Паша открыл витрину и торжественно водрузил бутылку в центр экспозиции. — Хотя я бы и сейчас от ромочки не отказался. Составишь компанию? У меня открытый ром есть!

Соня замотала головой — «не, не хочется».

— А зря, тебе бы не помешало. Ну, тогда я сам. М-м, понюхай, как шоколадкой пахнет! Так о чём мы только что говорили? Люся... поварёшка... Ах да! О медитации. Ты в следующий раз, как услышишь её суржик, вдохни поглубже и представь, что у неё изо рта вылетает... бабочка!

— Я боюсь, что только галушку могу представить, — ухмыльнулась Соня. — Помнишь, как у Гоголя? Только они Пацюку сами в рот прыгали, а у неё выпрыгивать будут. Интересно, а она Гоголя читала? Ой, ну я спросила...

* * *

Люся Гоголя не читала, Люся Гоголя смотрела. Свои пробелы в образовании Тётя Лошадь всю жизнь ненасытно восполняла кинематографом. В приоритете были старые советские фильмы — их содержание и главных героев Люся знала наизусть. Она прекрасно ориентировалась и в судьбах актёров — их браках, разводах, сердечных делах и прочих биографических коллизиях. Соня подозревала, что все «гроши», которые Тётя Лошадь зарабатывала на ниве украинского общепита, та спускала на глянцево-журнальные, а позже — на видеокассеты. Познания Люси в сфере кино были поистине энциклопедическими, но, к сожалению, абсолютно бесполезными.

Игорь Корниенко

РЕЗИДЕНЦИИ
АСПИ

Волшебная кнопка

Рассказ

Ассоциация союзов писателей и издателей (АСПИ) — объединение четырёх крупнейших союзов писателей и Российского книжного союза. Писатели самых разных направлений и взглядов собрались вместе для поддержки текущей словесности и литературного процесса. Занятия с начинающими литераторами, помощь писателям в трудной ситуации, создание сети литературных резиденций, творческие командировки писателей — число масштабных проектов АСПИ, охватывающих всю Россию от Калининграда до Чукотки, продолжает расти.

Представляем один из проектов АСПИ — «Литературные резиденции». Каждый месяц 42 писателя по направлению Ассоциации едут работать в дома отдыха и санатории на Орловщину, в Оренбуржье, в Каменск-Уральский и Пятигорск, под Благовещенск, в Бердск и в легендарное «ахматовское» Комарово. В бердской резиденции АСПИ и был написан этот рассказ нашего постоянного автора Игоря Корниенко.

Перед смертью ясней проявляется будущая жизнь. Только теперь уже не твоя, жизнь других, без тебя. Видимым становится невидимое. Понятней куда и зачем всё это...

Дед Егор, как сам выразился, — «прозрел и второе дыхание обрёл», схватил внука Алёшу, потянул из посёлка к главной, центральной дороге.

— Слушай и запоминай, — велел.

Сухой пергамент кожи дедовой ладони навсегда в Алёшиной памяти врезался прикосновением иного, потустороннего, рукопожатием самой Смерти, пропитанного сладко-тошнотворным запахом медикаментов и всяческого недержания... Дедушка говорил без умолку про каких-то духов огня и море трупов, собачьи будки вместо жилых домов, живых мертвецов вместо людей, Конец Света, говорил задыхаясь, повторяясь... И это сильно напугало маленького Лёшу, он не то что произнести, думать о тех дедушкиных словах не мог, боялся, что одна лишь мысль может превратить бред умирающего старика в явь...

Корниенко Игорь Николаевич — прозаик, драматург, художник. Родился в 1978 году в Баку. Лауреат многих литературных премий, в том числе премии В.П.Астафьева (2006), драматургического конкурса «Премьера 2010», литературного конкурса им. Игнатия Рождественского (2016), Шукшинской литературной премии (2019). Живёт в Ангарске.

— Вот это твой путь в жизнь. — Поднялись на дорогу, дед ткнул костлявым, жёлтым, куриным, совсем не человеческим пальцем в едва видимую полоску в самом центре дороги. — Эта вот стрелка твоя, указка по жизни, следуй за ней, понял?! — показал направление. — И придёшь куда надо, найдёшь себя, признание своё, свой смысл жизни! — И для пушей убедительности стукнул, «чтоб на всю жизнь запомнил», внука по уху.

— Так там, куда показываешь, дед, там, по уму-то, конец дороги, — тёр красное ухо Алёша. — Налево надо идти тогда, если к началу-то.

Почесал лысину дед Егор, а внук тем временем выдал своё прозрение:

— Если дорога идёт направо, то идёт она к концу, ведь так, все ведь дороги заканчиваются, поэтому надо идти назад, налево, туда, откуда дорога берёт свой разбег... И стрелки-то нет ни в одну сторону. Получается, идти можно хоть куда...

— Да иди ты к елене матери, сопляк! — замахнулся дед. — Правая сторона всегда правая! Верная! Истинная и божия! Левое — от дьявола! Налево только изменники и нехристи ходят!

Ловко увернулся от второй плюхи внук.

— И кладбище там так-то, — погрозил правой стороне дороги кулаком. — Покойников туда несут. И тебя, вот увидишь, тоже!

— Так кладбищем дорога не заканчивается, дурная твоя башка! — дед постучал по своей лысой голове. — Думай наперёд всегда, вдаль смотри и по сторонам, дальше дороги смотри! Все дороги ведут на кладбище, но у дорог нет конца! Ты голову-то включай почаще, а к голове душу и сердце подключай, третий глаз!.. Или тоже хочешь, чтоб как у меня, как я, перед смертью только научиться видеть?! Шаг до могилы, и на тебе, увидел дорогу, смысл узрел, глаз во лбу открылся...

— Третий глаз? — и Алёша забыл про больное ухо.

— Ну так, а я тебе про что?! Да, третий глаз. Глаз души, то, что не увидать простыми зенками. Кто тебе на жизнь, окромя деда, глаза-то откроет?! Вот и смотри теперь не в оба, а в три глаза! Разуи глаза! Развяжи. Сбрось шоры и смотри. И увидишь всё как есть и ясней ясного!.. И стрелки тебе проявятся, и другие всяческие указки... — Невидимое видимым станет! Только научись правильно на всё смотреть, видеть душой! И в третий раз замахнулся дед на внука, на этот раз просто, «на добавочное, и бог любит троицу»: — Да если б мой дед мне всё это поведал, да вместе с подзатыльником прозревающим, да шиш бы я жизнь свою вот так бы заканчивал, и так бы прожил — шиш! Я бы смотрел во все глаза куда шёл, и никуда б не вляпался, ни на какие грабли, ни в какое б дерьмо, ни во что б сроду не угодил...

Одним ухом слушал внук деда, даже вполуха; смотрел Алёша по дедушкиному наказу, широко раскрыв глаза и рот для большего эффекта, на петляющую дорогу из битого асфальта с едва различимой разметкой, смотрел, как забирается дорога на кладбищенский холм и срывается, исчезает за зеленью и крестами, соснами и искусственными цветами, мраморными памятниками и остроконечными оградами...

Через три дня похоронная процессия немногочисленных поселковцев прошла этой дорогой до свежевыкопанной могилы — нового и теперь уже вечного дома деда Егора, а внук Алёша впервые посмотрел на многое другими глазами. Тремя глазами.

— Чтобы открыть глаз души, третий глаз, тебе, внук, вот что надо сделать, — зашептал неожиданно и едва слышно дед, озираясь по обеим сторонам дороги. — Ты испугаешься, к бабке не ходи, отнекиваться будешь, поплачешь, покричишь

на деда, и на себя покричишь, помолитесь, может, даже, но сделаешь всё как дед накажет, ибо это его последняя воля. — И громче, пронзив слепым взглядом белой запущенной катаракты глаза Алёши до самого сердца: — Ты ведь знаешь, не маленький, что последняя воля покойника — закон! Всё, что перед смертью человек пожелает, должно быть выполнено. А иначе, — дед страшно закатил глаза к такому же, заражённому катарактой, пустынному небу, — иначе покоя не даст мертвец, с того света достанет и заставит исполнить последнюю волю сполна!..

Всё, что делает внук, — это слушает и кивает. Дед шепчет на ухо, постоянно оглядываясь, и кажется мальчику, что глаза его вот-вот выскочат из орбит.

«Такое в голову не может прийти нормальному человеку», — думает внук, но ничего не говорит, ни звука не издаёт, дышать перестал. Голос, как и пергаментная куриная ладонь, чудится внуку, теперь поселятся в нём навечно: голос из могилы, с другой стороны жизни, не жизни голос, шуршащей пожухлой листвы голос, голос мокриц и пауков...

— Ты должен сделать всё как я велел, Лёшка. — И уже не дед, а Смерть мерещится, стоит с ним рядом, и дышит пылью дороги, и обнимает, и шепчет на ушко: — Всё точь-в-точь, по плану, я уже начал всё подготавливать с раннего утра, как прозрел... Как увидел будущее яснее ясного... У нас с тобой, Лёшка, ещё есть время подготовиться к твоему прозрению...

Дедушку в оставшиеся до смерти дни, уверен Алёша, подменили. Это заметили и домашние.

«Перед смертью не надыхишься», — народная мудрость в случае с дедом Егором обрела иное значение...

— Будто ты, дед, и видеть лучше стал, и ноги не болят, — носишься, как погляжу, электровеника быстрее, — бабушка что-то подозревает, смотрит из-под цветной косынки следователем. — Ты б полежал лучше...

— На том свете отлежусь, — огрызается дед. — Лучше под ногами не мешайтесь! Дел невпроворот, пока в ящик не справили... Ящик этот себе сам сколочу, слышь, бабка?! И завет оставлю вам, слышь?! Чтоб строго соблюли всё, что накажу, без вопросов и проволочек!..

Вздыхает старуха, наученная слушаться во всём безоговорочно мужа, угодничает:

— Всё как скажешь, дед, всё так и будет, разве когда не по-твоему было?

Доволен ответом дед, что слов нет. Подмигивает внуку белой катарактой:

— Лёшку в помощники вот тока возьму, за пару дней управимся, сколотим мне вечный дом, и дела последние домашние, огородные, да дела вечные решим.

— Да, бать, вечные дела само то одной ногой в могиле решать, — вставляет, а как без этого, свои три копейки Лёшкин отец. — У тебя ж вся Вечность впереди, нарешаешься ещё...

— Ух, — замахивается дед. — Иди, умник, жене помоги с бельём, всё равно в завещании у меня Лёшка наследник.

Сын слушается. Внук думает: вот из-за мамы, такой худенькой, хрупкой, тихой и всегда с тёплыми руками, он может и дать слабину, спасовать в дедушкином последнем деле, «прожекте прозрения».

— Твоего прозрения, — уточняет всякий раз дед. — Твоего открытия смысла жизни, правильного видения всех вещей мира, положения, представления!..

— А что если не откроется?! Что если у меня этот третий глаз того?.. — косится на белые зрачки деда внук. — Если с катарактой мой третий глаз вдруг, что тогда?

— Тыфу, садовая твоя голова, — сплюнул дед и топнул ногой для солидности. — Это же глаз души, сколько можно повторять, он видит в темноте, и сквозь стены, и сквозь время и пространство. Людей нутро видит, истинную сущность людскую и всех вещей в этом мире. Изнанку видит третий глаз. То, что верно, — то и видит. А ты про катаракту... Ну сам подумай, у души какая может быть катаракта?..

Алёша подготовился, Алёша ответил:

— Но ведь у всех злодеев, убийц-маньяков, плохих людей, ты сам говорил, гнилые пропащие души!

Плюнул ещё смачней, ещё громче топнул дед:

— А ты у нас кем будешь, голова два уха? Маньяк-убийца аль какой иной злодей, извращенец, мож?.. Чего ерунду городишь! По подзатыльнику, видно, затосковал, вот и мелешь как помело. Душа у него с катарактой, ишь что удумал! Брось, делай всё, что дед, пока жив, говорит, а потом уже своей головой думать будешь и смотреть, как надо, как верно и правильно, ясен пень?! — И смотрят в Алёшу совсем не дедушкины глаза, и Алёша готов поклясться, что не дед это его, подменили деда. Кто подменил? Может, небо последних дедушкиных дней или земля в ожидании нового гостя?..

— Ясен, — буркнул внук, — ясней ясного.

— То-то ж, — подобрел дед, задрал голову и смотрит в самое солнце. — Это Он дал мне такой шанс уйти спокойно и бесстрашно. Осознанно и с пониманием, что оставляю в этой дальнейшей жизни... Я не боюсь уходить, тебя оставляя наученным, и ты не бойся ничего! — Вернулся от солнца к внуку: — Ни в эти дни, ни в последующие!.. Ясно?

«Ясно», — кивает Алёша и смотрит на солнце, а оно такое вдруг стало близкое, такое родное, словно дедушка его сделал собой. Солнце-дед вдруг шлёпнул по спине:

— Хорош мечтать, нам с тобой ещё о-го-го сколько сделать надо. Айда волшебный ящик колотить!..

Час за часом Алёша проникался речью деда, и уже совсем не страшны казались его мысли, идеи, предсказания...

Уже и Смерть, что изредка, но возникала вместо старика Егора, по-дружески близка, привычна и обыкновенна...

Стирается разделительная полоса дороги, между жизнью и смертью стирается, между небом и землёй, ежесекундным и вечным...

Сном и явью...

Алёша впервые за многие годы дедушкиной болезни уснул с дедом на его старом, скрипучем — «болтливом» — диване, и приснился ему сон, будто завещал дед ему свои глаза.

Чёрным по белому и строго настрого велено: пересадить глаза деда Егора внуку Алёше в пользование на всю оставшуюся жизнь сразу после смерти старшего родственника.

И вот он на белом операционном столе, в белой палате, и люди в белых халатах вокруг, и белый свет ламп, и белые глаза дедушки плавают в банке головастиками-переростками...

И голос, во сне Алёшином и голос виделся белым:

— Будет больно, ведь жизнь — это боль. Но пройдёт. Ведь всё проходит. Ты закрой свои глаза, а когда откроешь, это уже будут глаза твоего деда...

— Но там же катаракта, как так?!

— Ну, а третий глаз тогда тебе зачем?

И белыми губами, с белым-пребелым лицом Алёша закричал:

— Так нету его у меня пока! Не открылся ещё!

— А это что? — и вместо банки с дедушкиными глазами — зеркало, а в нём Алёшино белое лицо и на лбу полоска, царапина, шрам, что вдруг открылся самым что ни на есть настоящим человеческим глазом. Глаз во весь его широкий, дед уверял — «ленинский», лоб.

Глаз подмигнул, Алёша завопил, проснулся от боли во лбу, — это он стукнулся спросонок о дедушкину лысину.

Проснулся и дед:

— Какого ты дерёшься-то?..

— Деда, не хочу, чтобы ты умирал, — прогнусавил, не сдерживая слёз, Алёша, — не надо.

Дед закричал на пару с диваном, поднялся, сел.

— Не умирай просто... Мне ведь, если умрёшь, твои глаза в наследство носить придётся... А они ж с катарактой. Да вообще просто не умирай, и всё.

Обнялись.

— Я тебя буду во всё слушаться и помогать во всё... И мы вместе кучу ящиков волшебных наделаем, если надо, только не умирай...

— Эка сон тебе весёленький приснился, видать. Да, глаза тебе в наследство достанутся такие, что все обзавидуются, ни у кого таких в мире глаз нет! И в век не будет! Глаз-рентген. И раз такое дело, сны тебе свои подарю... Тож в добавок к твоим снам. Не ной. Ни сейчас, ни когда умру, ни в жизнь не ной! Плачь один на один с собой. Про себя, в себе плачь, и никогда не ной!

Вытер слёзы внука горячей шершавой ладонью дед. Улыбнулся Алёша:

— Глаз души, он что, во лбу откроется? — Ощерился: — И в школу тогда, ни на какую математику дурацкую не надо...

— Может, и во лбу, не знаю, — засмеялся дед. — У меня ж нет его, вот у тебя откроется — и поглядим... Пусть хоть где, главное — не в шоколадном... — и дед загоготал так громко и звонко, безудержно и весело, что сбежались все домашние, и кот заглянул проверить, что за балаган. Смеялся дед, смеялся внук, бабушка пришла первой и тоже заразилась, — так, по цепочке, за несколько минут от смеха затрясся весь дом, и кот Васька не устоял.

Для волшебного ящика, «гроба», дед чего только не использовал: тут и листы ДВП, деревянные рейки, картон, поролон, гвозди, скобы, суперклей.

— В конце концов, мне в нём лежать — какой хочу, такой и сварганю, рубанок мне в помощь, пила под руку.

То, что дед плотник от Бога, все в посёлке знали. И что такой выдумщик-затейник, и что с Богом всю жизнь в споре, с батюшками, «но чтоб с последним домом так? Пристанищем собственного тела... С гробом?» — дивился-шушукался посёлок.

Волшебный ящик — «там ведь всё как у иллюзионистов, тебя в нём закрывают и, вуаля, ты исчезаешь» — дед решил, конечно же, выкрасить в свой любимый цвет — сиреневый.

— Я родился, когда во всю сирень цвела, этим цветом пропитался с молоком мамкиным, мне почти девяносто, а молоко до сих пор сиренью пахнет... Так что давай галопом за сиреневой краской.

— Никаких венков, искусственных цветов, букетов, — велел дед в завещании... Ящик решили украсить, как и положено волшебным ящикам, по-волшебному: всевозможными светодиодными гирляндами, лентами на батарейках...

— Цветомузыку, конечно, лучше бы, — сетовал дед Егор. — Не доплясал я по молодости под бегающие огоньки свою песню-танец. Помню, с бабкой твоей только ради этих огоньков и таскались до клуба и не плясали, вот те крест, просто стояли в темноте под мерцающими разноцветными огоньками и думали об одном и том же, одну на двоих мечту... Теперь дотанцую, допою, — вздыхал дед, скобами прикрепляя очередную гирлянду к откидывавшейся крышке ящика. — Без бабки, но допляшу... Так жизнь, внучок, устроена: начинаете танцевать её, эту жизнь, вдвоём, а заканчиваете танец уже поодиночке.

Мамам не нужно прозрение, третий глаз, — материнство награждает их всеведением, всезнанием, ясновидением...

Вот и мама Алёши подозвала сына и сходу, глядя в глаза:

— Что это вы с дедом задумали, рассказывай...

Алёша и к этому был готов, дед предвидел, поэтому научно отчеканил:

— Не хочу, чтоб дед просто взял и ушёл от нас, хочу, чтоб эти дни всем запомнились, ему особенно... И чтобы за сумасшедшего его все считали, не хочу, пусть думают, что это — чтобы мне угодить, дед гро... ящик волшебный в сирень выкрасил и гирляндами новогодними... А чего тут такого? Я тоже так хочу уйти и тож в завещании всё пропишу...

Поцеловала мать Алёшу в макушку:

— Ты умочка, только маму не обманешь, мы сердцем всё видим, душой...

— Но я честно, мам... — вырвался из объятий сын, состряпал, как дед научил, кислое, «мол, обиделся», лицо.

— Просто делай, как тебе твоя мальчишечья душа говорит, сердце подсказывает, и головой думать не забывай, — и кулаком как бы невзначай погрозила, продолжая по-доброму, по-матерински улыбаться.

Что бы дети за всю свою жизнь ни натворили, матери со всем всегда разберутся — это истина, это закон, это жизнь!.. — усвоил аксиому Алёша.

А вечером за ужином дед объявил, что завтра, после захода солнца, он заберётся в свой волшебный ящик, все, кто хочет проститься, пусть приходят проститься, ночь внук Лёша пусть проведёт с ним, а с солнцем ящик можно выносить.

— И чтоб без всяких горланий, кликушеств и «ой да на кой ты нас», — напомнил один из самых главных своих заветов. — Зеркала можно не закрывать, сроду в них не гляделся, а теперь и подавно. Ну а если прямо совсем от меня что нужно кому будет, все вопросы к Лёшке, его за себя оставляю.

Таков завет и последняя воля!

Дед Егор вроде и жил не сказать что незаметно, всегда на виду, всегда при людях, при деле. До болезни, по крайней мере, ни один праздник поселковский не пропускал, но за эти три дня прямо вспыхнул и засверкал как никогда, будто и вправду перед смертью второе дыхание открылось, прозрел, и боль от болезни, метастаз запущенных, отступила... Посёлок стоял на ушах от одного вида «гроба Егорова», который спецом дед выставил на всеобщее обозрение в саду на двух табуретах.

Сиреневый, с красными — идея внука — звёздами, с разноцветными гирляндами, яркой вспышкой по глазам, по сердцу, по небу...

— Цирк, а не гроб, а с Богом шутки плохи... — шушукались. — Фокусник дед Егор, того гляди и на том свете начудит, вернётся...

По завету деда, с наступлением темноты волшебный ящик водрузили на стол в зале.

Дед забирался в него, и вылезал, и снова нырял в ящик, и опять назад «подымить», «по нужде», «по делу», «посмотреть», «походить», «попить и перекусить», «потанцевать»... раз тридцать, не меньше.

После танца с бабушкой — последний танец без музыки под мерцающие, пульсирующие огоньки — дед расчувствовался и решил не выбираться «до прихода», «точнее, ухода», «до перехода, ещё точнее» из ящика — сияющего, перемигивающегося всеми цветами, прямоугольного — «на гроб ведь совсем не похож» — монолита.

Пропрощаться, несмотря на поздний час, пришли «по очереди только, внук за секретаря», все домашние и друзья с соседями, и пара-тройка просто хороших знакомых...

— Второй час ночи, и никто не спит, — негодовал, ворчал и довольно улыбался дед Егор. — Вот оно, вот, — взмывали жилистые руки вверх из светоящика — вот оно, счастье и жизнь! Вот! Смотри, внук, и не упускай из виду. Завтра мы пойдём по той самой дороге и обратно, ты вернёшься без меня по тем самым стрелкам... Вернёшься другим. Новым. Прозревшим!..

Я не буду смотреть на вас с неба и из-под земли смотреть на вас тоже не буду! И не спрашивай, садовая ты голова, откуда я буду смотреть, сам знать должен... Ты, главное, не забудь про волшебную кнопку... Смело жми её и разделяй...

— И разделяй? Ты хотел сказать «отделяй» или «залезай», «вылезай»? А, деда? Голос у Алёши дрожит...

Слёзы, а дед строго-настрога запретил их, выскользнули из глаз внука. Алёша смахнул их, Алёша выдохнул совсем не по-детски, Алёша сказал:

— Ну ты, дед, даёшь... Конечно, знаю! Ты будешь смотреть на нас из нас, из каждого из нас... Из меня и из бабушки, из мамы с папой и даже из кота Васьки будешь глядеть, следить, чтоб никто и ничто...

Всё случилось так, как и завещал дед, будто видел, Алёша зуб даст, чтобы так и было, дед всё предвидел, всё, вплоть до мелочей.

Проговорил с дедом до рассвета, под цветомузыку огоньков и аромат сирени, а с первым проблеском зари Алёша нажал на волшебную кнопку в волшебном ящике.

Яркая разделительная полоса горит и светится белым светом, и Алёша понимает, что спит, что сон, что заснул, и... Вовремя сдерживается, чтобы не закричать. Проснулся. Тихие голоса, движение... Алёша выдохнул. Догадался, что парит. Он летит...

Алёша не слышал, как искали его домашние по всему посёлку, не слышал, как мама сказала отцу:

— Пойдёмте без него, дед же предупреждал... Они так сдружились за эти дни, пусть побудет один, поплачет, он с дедом всю ночь провёл, зачем ему видеть, как его закопают... Навсегда...

Повернул голову направо Алёша к двум светлым точкам, прижал к отверстиям глаза, и вот она — дорога, и разделительная полоса под ним, её он не видит, чувствует.

Мир его детства отсюда смотрится совсем иначе. По-другому.

По-взрослому?..

По совету деда. А его от бабушки отделяет всего лишь лист ДВП, лист, скрывающий в волшебном ящике второе дно. Внук прокатится с ним до последнего. Когда три горсти упадут на крышку ящика, Алёша снова нажмёт волшебную кнопку, и вуаля...

Вот они пролетели рядом со старой, времён СССР, но хорошо сохранившейся, каменно-бетонной, автобусной остановкой.

— Страны нет, автобусы сто лет как не ходят, а дело рук человеческих живёт, стоит, и век ещё стоять будет! — обязательно бы проворчал дед, как делал всегда, попадись остановка ему на глаза, или заговори кто про автобус, или что наподобие...

Улыбнулся внук, отвёл взгляд от отверстий, что просверлили с бабушкой каких-то двенадцать часов назад, и вместо темноты над собой увидел свет, в точности как свет разделительной полосы из сна:

— Только полоса эта совсем не разделительная никакая, а соединительная полоса! — прошептал в эту яркость прозрения внук. — Я вижу это, слышишь, дед? Соединительная полоса и дорога...

Ты же тоже это видишь, дед? Ведь видишь?

И тихонечко постучал по шершавому листу второго дна, постучал тому, кто над ним в ящике, совсем, совсем рядом, чуть выше... Постучал, в полной уверенности, что услышит стук в ответ.

Как и договаривались...

20 июня — 20 июля 2022 года

Бердск, Обское море, санаторий «Крона»

Первая литературная резиденция АСПИ в СФО

Владимир Панкратов

Лёша Козихин

Рассказ

Вот он я, думал Лёша Козихин, смотря на себя со стороны, опять иду домой по этому пути, хотя сколько раз уже хотел пойти другой дорогой, через бульвар, но всегда вспоминаю об этом, когда уже не свернёшь, где-то на середине, когда прохожу мимо голубятни, синие деревянные стены которой сплошь обиты игрушками. Выглядит нелепо, будто мусорный контейнер перевернулся, но в голубятне есть голуби, более того, она обнесена сеткой-рабицей, как-то подошёл поближе рассмотреть, что там навешано, и кроме старых кукол, часов, машинок, водяных пистолетов увидел на стене фотографии в раме за стеклом, разделочную доску, лопасти от вентилятора, — такой музей невинности, вывернутый наружу. И сколько раз я думал, что про неведомого хозяина голубятни было бы интересно написать рассказ: вот он, простой человек, который, наверное, проработал всю жизнь на одном заводе, инженером или конструктором, а сейчас на пенсии, обил дома балкон вагонкой и устроил там мастерскую, а ещё починил старую голубятню, купил голубей и сделал им дом-терем, все соседи знают, что он собирает ненужные предметы, и несут ему, а он пристраивает их на синюю стену. Но так же, как и с моей дорогой домой, мысль про хозяина голубятни приходит в голову только когда я вижу и вновь удивляюсь странной постройке. Когда же я думаю не о том, что вижу вокруг, а о том, про что написать рассказ, выдуманный пенсионер редко кажется мне подходящим на роль главного героя. Где я, а где этот пенсионер. И кто ж тогда напишет про меня? Хочется и правда написать что-то про условного себя, про человека своего возраста, которого я лучше всего знаю и понимаю, про старикана ещё успеется. Но лучшее, что пока придумывается про себя — это как я иду в сотый раз мимо голубятни и думаю, что про неё написать было бы гораздо интереснее, чем про меня.

Лёша Козихин сидел в подвальном зале галереи, название которой он постоянно забывал, и смотрел на пенсионера с густыми усами разных цветов: сверху просто

Владимир Панкратов — журналист, редактор. Родился в Ташкенте в 1990 году. Учился в Ташкентском государственном техническом и Московском городском педагогическом университетах. Писал книжные рецензии для портала «Горький», Esquire и других изданий. Создал литературную премию для молодых авторов ФИКШН35. Победитель премии для книжных блогеров «Блог-пост». Рассказы и статьи печатались в журналах «Волга», «Знамя». В «Дружбе народов» публикуется впервые.

русые, книзу тёмно-коричневые, как будто прокуренные, а ещё слева и справа пятнышки поседевших волос. Это было похоже на кусочек кошки. Его звали Андрей Петрович или как-то так, Лёша не помнил. Дальше он перевёл глаза на Леру Козлову. Её имя он знал, потому что иногда спал с ней. У неё такие шикарные волосы, зачем она собирает их в пучок, думал он порой. Но вслух не говорил, потому что не понимал: это похоже на комплимент или наоборот. Лера была стопроцентным воплощением того типажа внешности, который ему нравился, но, конечно, они не совпадали во всём остальном (это, *конечно*, с иронией, добавлял в мыслях сам Лёша).

Рядом с ней сидел паренёк, известный среди собравшихся тем, что был пожарным. Все как-то не уставали говорить при случае, дескать, у нас даже пожарный есть (его называли пожарник). Лёша же не переставал удивляться, как жизнь придумывает людей, гораздо более похожих на выдуманных, чем герои любой выдуманной истории, — или, наоборот, не боится делать их настолько грубо выдуманными. Пожарный был очень молодой и красивый, с идеально ровными зубами, говорили, что он ведёт довольно популярный тик-ток. Голову его венчала роскошная шевелюра с густыми локонами до плеч, будто сюда поместили кусочек писателя Сорокина. Как хорошо, что он именно пожарный, думал Лёша, а не кто-то вроде программиста, тогда в этом персонаже было бы мало интересного. Программистом был сам Лёша, и вот себя-то он, как все нормальные люди, считал как раз совершенно неинтересным, даже скучным. Эту свою скучность он искренне считал чем-то само собой разумеющимся и был по этому поводу как-то даже отталкивающе спокоен. Не то чтобы он смирился и принял себя — скорее, всегда и воспринимал это как факт, как две ноги, две руки. Другие чаще неодобрительно принимали это за отсутствие амбиций; Лера говорила, что он не верит в себя и почему-то не смотрит на себя со стороны; Лёша только хмурил лоб.

Рядом с пожарным сидела... «Начнём, наверное?» — спросил пенсионер с усами.

Лёша Козихин постоянно забывал название этой галереи. Она уже закрылась, но они сидели в тёмном подвальном зале, где тоже проходили выставки и на стенах сейчас висели чьи-то огромные фотографии чьих-то тел. Только в центре зала горела пара лампочек, скудно освещая лакированный столик со сладостями. Оказываясь перед этим столом, Лёша всякий раз вспоминал, что надо бы тоже что-нибудь с собой брать. Скоро на меня станут косо смотреть, думал он, что я не приношу печеньки.

«Начнём, наверное?» — спросил пенсионер с усами. Он здесь как бы предводитель; усы у него были очень густые, выжженные, прокуренные. Раз в месяц тут собирались разные люди, распивали бесконечный чай и обсуждали рассказы друг друга.

Начать было решено с пожарного Кости, чью фамилию Лёша никак не мог запомнить (она у него была такая интересная, вычурная). Про рассказ, написанный пожарным, первой взялась говорить Лера Козлова. Её фамилию Лёша как раз помнил.

Такие шикарные волосы, зачем она собирает их в пучок, думал он сейчас. Вместо того, чтобы смахивать на ведьму, она предпочитает быть похожей на ведущую новостей.

Они чаще встречались у неё, чем у него. Ему было тридцать лет, а спал он на одноместной кровати, чем сильно удивил Леру в их первый раз (он называл кровать «полуподкой»), как бы доказывая, что она на самом деле больше, чем про неё думают). Лера не видела здесь ничего смешного, и ночевали они у неё, даже несмотря на то, что она снимала комнату, а он квартиру.

Иногда, лёжа в сине-фиолетовом свете её белой икеевской комнаты, он мог сказать что-то вроде: почему, дескать, в этой их компашке все пишут только про себя, разве не интереснее выдумывать героя с нуля, почему бы не заставить читателя пережить более неординарный опыт, чем переживает он каждый день. Сочинения ведь интереснее изложений.

Лера отвечала на такое, что героев, выдуманных с нуля, не бывает, и даже у Лёши. И про себя он не пишет не потому, что не хочет, а потому, что стесняется. Или потому, что думает (вот уж затёртый стереотип), что про себя ему написать нечего. В целом же всё это разговоры ни о чём — пусть каждый пишет о чём хочет. А ему вообще больше нравится рассуждать, чем создавать, ему бы быть каким-нибудь искусствоведем, а не автором.

Понятно, что ни о чём, думал Лёша, но интересно же узнать, что думают про это другие. И потом, разве это не самое занятное — порассуждать ни о чём. А автором он себя и так не считал (в отличие от Леры; она относилась к этому серьёзнее, отправляла тексты на конкурсы, ездила на семинары). Для него писательство или, как он сам это называл, *писанина*, было просто хобби. Он катается на лыжах, собирает чёрные трассы, и что он, лыжник, что ли? Неплохо разбирается в рок-музыке, может угадывать альбомы Big Thief, Interpol или The National по первым секундам их песен. Играет в компьютерные игры, когда-то выигрывал чемпионаты с командой однокурсников. И вот — придумывает истории. Не больше. Ему нравится, когда герои совершенно обыденны и в то же время могут чем-то удивить. Хоть какая-то зацепка, хоть что-то необычное. А сам он что? Лыжи. Музыка. Компьютерные игры. Прост, как серые семейники.

Лера не убеждала его в обратном. Ей не нравились мужчины, которых надо было убеждать, что они в чём-то хороши. Она всегда была готова поддержать — но не уговаривать. Grosh цена такой твоей поддержке, говорила ей её подруга Лена Стопмашина.

Хотя вообще-то у Леры были некоторые слова для Лёши. Вот он программист, а кем был раньше? Машинистом метро. Кто бы догадался. Ещё он «эксперт по волосам», как его называли в этой их компашке: кажется, он мог составить каталог всех возможных у человека лысин и залысин, степеней волнистости волос и их жёсткости, причёсок и париков, волосатости рук, коленок, промежностей и других частей тела. А главное, у него была какая-то странная чуйка на людей, предметы и явления из ряда вон выходящие, при этом, когда он их встречал в реальности, то выдумывал про них истории и всегда, абсолютно всегда — угадывал правду. Полный интроверт, в таких случаях он шёл на контакт с незнакомцем, лишь бы проверить свою версию, и постоянно оказывался прав.

Всё это Лера порой хотела ему сказать — но не говорила.

Лёша считал, что с Лерой ему повезло. Если говорить о внешности, она была стопроцентным воплощением того типажа, который ему нравился, — но, конечно, они не совпадали во всём остальном; это *конечно* с иронией добавлял в мыслях сам Лёша. Впрочем, разный юмор и слишком серьёзное ко всему отношение (с её стороны) не мешали им говорить о фильмах и книгах (и никогда ни в чём не соглашаться). Кто-то из их писательского кружка — лучше пусть будет подвального кружка — сказал, что Лера смотрит и читает всё подряд «в хорошем смысле слова». То есть не потому, что вкуса нет, — просто так она *собирает* свою насмотренность, расширяет представления об инструментах нарратива... Лёше такой подход казался странным, зато с ней он мог обсудить «Фантазии Фарятьева» Авербаха или «Шультес»

Бакурадзе — с кем ещё он это сделает? Что будет, когда она встретит *настоящего* парня, он думать не хотел. Как и о том, почему она с ним общается и иногда спит.

На сегодняшнее обсуждение Лёша отправил рассказ про левую лестницу.

Раз в месяц небольшая группка людей собиралась на нижнем, подвальном этаже маленькой галереи, уже после её закрытия, чтобы до ночи распивать бесконечный чай и обсуждать рассказы друг друга. Лера Козлова была завсегдатаем, она не пропустила ни одной встречи и помнила все сюжеты, которые здесь когда-либо обсуждали. Ещё она больше всех смотрела фильмов и читала книг и, наверное, поэтому в своих оценках была всегда самой строгой. Тебе бы быть каким-нибудь критиком или искусствоведем, а не автором, говорила ей её подруга Лена, которая тоже сюда ходила, — видно же, что тебе чужое разбирать интереснее, чем делать своё. Леру такие слова обижали, но она этого не показывала.

Дошла очередь до Лёшиного рассказа, Лера постоянно забывала его фамилию: то ли Козицын, то ли Козихин. Лёша был похож... а впрочем, поздно описывать Лёшину внешность, вы всё равно уже представили себе своего Лёшу, и от этого образа теперь не отойти; точнее, вы представили какого-то друга-знакомого или просто известного вам человека, и вот он теперь для вас и будет Лёша до самого конца. Лёша действительно был таким, каким вы его представили, — и Лере он такой очень нравился.

Да, рассказ про две лестницы. Находятся они в метро, совершенно одинаковые, расположены рядышком и обе ведут на спуск. Но повёрнуты они к человеческому потоку так, что ближе оказывается правая; а по левой никто не ходит. Ступеньки на правой за много лет поистерлись и стали матовыми, на каждой из них ближе к середине появились еле заметные углубления, деревянные перила округлились по краям. На левой лестнице ступени темнее, а перила ярче; редко, очень редко кто-нибудь по ней пройдёт. От этого левая лестница грустит. Лестницы и эскалаторы, автомобили и гаражи, мосты и дороги, здания, фонари, качели — всё, что придумано и создано человеком, чахнет и хиреет без использования. Оно не мыслит себя без взаимодействия с создателем, как одомашненная собака не представляет жизни без хозяина. Лучше поистерпаться и состариться под миллионом человеческих ног, чем остаться никому не нужным, как сирота. Левая лестница тоже хочет, чтобы по ней ходили и бегали, чтобы на её перила опирались, чтобы на ней просто стояли и разговаривали. Она обладает некоторым сознанием, которое позволяет ей видеть соседнюю лестницу и толпы пассажиров. Она откуда-то понимает, что тоже создана для этих людей, и грустит, что почти никто не идёт к ней. Но её сознания не хватает, чтобы понять, *почему* люди идут по другой стороне, она воспринимает это как должное, как слепое с рождения животное не знает, что бывает зрячая жизнь. Она не понимает, что люди не ходят по ней из-за ошибки этих же людей в проектировании, из-за того, что её построили на неудобном месте под неудобным углом. И она терпеливо и неутомимо ждёт, что что-то поменяется.

Лёша всегда придумывал что-то подобное, будто реальные живые люди были ему неинтересны. Нет, про людей он тоже много писал, но про каких-то странных, которых Лера никогда не встречала в жизни. Каждый раз он присылал тексты про всё более и более вычурных героев, словно брал себя на слабо; вот уже и до лестницы дошёл. Хотя, по правде сказать — в этом было сложно признаваться, — только его рассказы она открывала на почте с настоящим интересом. Жаль, что с его умением

видеть детали он ничего не пишет про обычных, ничем не приметных горожан, думала Лера. Жаль, что такого умения нет у неё.

Синий терем в полутьме становился болотным и растворялся среди деревьев. Только игрушки на его стенах еле-еле излучали серый свет. Казалось, они незаметно двигаются. В тереме жили голуби.

Лёша Козихин наконец добрёл до него и встал как вкопанный, будто пойманный серебристым излучением. Шумели сверчки. Голуби спали. Копшение предметов на стене прекращалось, как только Лёша пытался выхватить взглядом любой из них.

Кто охранял этот дом? Человек с седыми волосами? С большим животом? Мастер на все руки. Здесь, под голубями, он прятал свои игрушки, думал Лёша. Валики. Садовые ножницы. Фанера. Удочки. Пила. Оконные рамы. Пластиковые бутылки с чем-то жидким. Разобранный вентилятор. Спицы от велосипеда. Пластмассовый таз.

Низкий потолок. Лампочка на скрюченном шнуре. Бетонный пол. Железная зелёная дверца в полу. Накрыта ковриком. Квадратная. С ручкой, скрывающейся в самой дверце. Под ней лестница вниз. Металлическая, узкая. Погреб с полками. Банки. Компоты, варенья. Огурцы, помидоры. Ещё одна дверь, теперь в стене. Металлическая. Толстая. За ней совсем маленькое помещение. В ней одноместная кровать. На кровати женщина. Рука привязана к столбу. Спит.

Дверь голубятни начала отворяться, вызвав едва заметное движение воздуха в плотной темноте. Лёша вышел из ступора, но удержался на месте, стараясь не двигаться. Из чёрной дыры выкатывалось белое пятно. Большой человек. В белой майке. Натянутой на животе. В растянутых трениках. Лица было не разобрать. Только отражали слабый свет белые волосы.

Алексей Иванов

Иисусова молитва, или Старая бомжиха с рыжим котом на поводке

Рассказ

В этот момент Вера П. вдруг поняла, что пить больше нельзя. Момент был совершенно неподходящий: на последние копейки купила бутылку и зашла за старинную ограду в садик. Было тихо, тепло, пахло свежим ремонтом, сырой землёй и уборной. Скамейка, на которой она расположилась, стояла напротив полукруглой церковной стены со следами ремонта. В стене узкая дверь с маленькой иконой над нею. Работяги-ремонтники натоптали меловые следы. Самое место опохмелиться. Тем более что в местной «Пятёрочке» смахнула банку пива. Вера сунула руку в сумку, ощутила холодный, гладкий баночный бок, но услышала шаги, стрельнула взглядом в ту сторону, — из жёлтого домика с двумя дверями и буквами «м» и «ж» вышел высокий мужчина в рясе и камилавке. Поп.

Вера пошебуришила рукой в сумке, вроде поискала что-то, стараясь не встретиться взглядом с попом. Сейчас выгонит. А здесь так хорошо. На солнышке.

Шаги по песчаной дорожке стихли.

— Не будете возражать, матушка, если присяду рядом?

Вера пожала плечами.

Священник сел на скамейку, сдвинувшись к краю. Вера почти сразу почувствовала сладковатый, приторный запах ладана, свечей, мёда. «От меня-то, поди, псиной воняет!» — подумалось неожиданно. Неожиданно, потому что уже месяц, как не больше, во всё время запоя, ни разу не умылась. Да и в голову это не приходило, хотя обе соседки по коммуналке, Роза с Любкой, при каждом скандале кляли её «воровкой и грязнулей». Ну и матом, конечно. Вера отвечала с удовольствием, тут она могла с ними соревноваться. Не то что в супах или пирожках, которые, грешным делом, подворовывала. А чем питаться в запое? Не готовить же самой. Или помирать с голоду? На одном портвейне долго не протянешь. Уж лучше послушать этих куриц да подразнить лишний раз.

Иванов Алексей Георгиевич родился в Ленинграде. Автор трёх романов (в том числе «Опыт № 1918», — М., ArsisBooks, 2019 — опубликованного в «ДН» в 2017 г., №№ 5, 6, 7), нескольких книг повестей и рассказов. Печатался в журналах «Звезда», «Аврора», «Нева» и др., книги выходили в издательствах «Лениздат», «Советский писатель». Живёт в Москве.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2021, № 12.

— Благодать какая! — вздохнул священник. — Весна! И всякая тварь Божья весну-то чувствует. И земля сама, и травка простенькая, и шмель весну знает! — он тихонько засмеялся. — Шмель прилетел, — сказал он, обращаясь к Вере, — верно, на медовый запах. Ну-ка, лети отсюда, поищи медку в другом месте! — он дунул на шмеля, и тот, ворчливо гуднув, улетел.

Вера, не поднимая головы, видела только его белые старческие руки, не привыкшие к работе. В одной он держал чётки и медленно перебирал чёрные матовые зёрна.

— Зачем вам чётки? — вдруг спросила Вера.

Чётки преследовали её. Кажется, впервые увидела их на руке старика, приходившего в их детский дом. Последние чётки носил её Мишенька. «Зачем тебе они?» — спросила она как-то. Когда они познакомились. Мишенька только начинал колотиться и всё отговаривал её, не давая ей дозу. На герыч её посадил бомж с Курского вокзала по кличке Моряк. Хотя, конечно, никаким моряком не был. Мишенька отдал ей чётки перед тем, как прыгнуть из окна. «Возьми и храни!» — кажется, так он сказал. И исчез в проёме. Она бросилась вниз по лестнице, а когда поднялась на последний, девятый, этаж, после того как, Мишеньку увезла не «скорая», а труповозка, вспомнила о чётках, но тонкая ниточка оборвалась. Вера не помнила где. Нашла только два зёрнышка от них. Да и то потом потеряла.

— Чётки вручаются при монашеском постриге, — ответил старик.

— Вы монах? — спросила Вера, по-прежнему не поднимая глаз.

— Да, по Божьей милости.

— Зачем?

— Кто-то должен служить Богу, — сказал он после секундного раздумья. — Его молят и просят все, а кто-то должен и служить.

— А что значит «служить» Ему? — она, наконец, взглянула на собеседника.

Тот улыбнулся:

— Если бы я знал, был бы великим просветителем, — он задумался, глядя куда-то чуть выше двери. Она тоже стала смотреть туда, но ничего, кроме чисто выбеленной стены, там не было. — Или святым. Они знали. Во всяком, случае думали, что знают.

Из двери, прихрамывая, уточкой, вышла нестарая женщина с ведром и современной шваброй-отжималкой наперевес.

— Ой, вы здесь, батюшка! — обрадовалась женщина. — А вас ищут, — и понизила голос, — к исповеди собрались, ждут!

Он кивнул.

— И это... — покосилась на Веру. — В трапезной вчера опять тараканов видели. Надо бы морилку какую от них купить.

— Есть такой спрей, — живо отозвался батюшка, — «Раптор» называется! — он поднялся со скамейки.

— Дорогие они все! — женщина оглянулась, из двери храма выглянула старушка в белом платочке.

— Батюшка, ждут! К исповеди!

Священник пошёл было к двери, сразу стало видно, какого он большущего роста. У самых ступенек оглянулся.

— Вам, мне кажется, — он, ласково улыбаясь, смотрел на Веру, — тоже поисповедоваться надо бы. Давно на исповеди были?

— Никогда! — почему-то с вызовом сказала Вера.

— А крещение принимали?

— Да, — это Вера помнила хорошо. Нянька из детского дома потихоньку водила девочек в храм — «покрестить».

— Пойдёмте! — он поднялся на ступеньку и стоял, открыв дверь.

Вера послушно, будто давнишняя нянька вела её за руку, пошла за ним.

— Вам вон туда, в ту дверь, — сказал священник. — И подходите ко мне первой, не ждите в очереди, — он стоял у полуоткрытой дверцы в таинственную глубину. — Иисусову молитву помните? — И не дожидаясь ответа: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, прости мя грешного!» Повторяйте много раз!

— Сколько?

— Сколько сможете!

Храм внутри оказался неожиданно высоким. И темноватым после весеннего солнца на улице. Пахло ладаном, сгоревшими свечами. Недалеко от ступенек к иконостасу стояла небольшая очередь. Вера поняла: на исповедь. Пристроила сумку возле арки, на боковине которой висела икона, огляделась и, словно подсказал кто-то, вытащила из-за пазухи мятый платок. Прикрыть голову. Очередь стояла молча, кое-кто, шевеля губами, читал тонюсенькие книжки.

«Господи Иисусе Христе... Господи Иисусе Христе, Сыне Божий...» — священник всё не появлялся.

Вынесли ящик-подставку, накрыли покрывальцем, сбоку, опережая очередь, подошли четыре женщины и мужчина. Хор, — поняла Вера, разглядев в руках первой женщины папку с нотами.

Священник в золотом облачении казался ещё выше, строже. Не похож на того старика, что сидел с нею на скамейке. Но это был он. Священник взглянул издали, поднял толстую книгу в золотом переплёте и перекрестил ею стоявших в храме.

«Подойдите!» — жестом пригласил Веру и уложил книгу и крест на подставку. Вера оглянулась на сумку — брать-не брать — и почему-то не двинулась с места. «Господи Иисусе Христе...» — в который раз прокрутилось в голове...

Священник удивлённо оглянулся, снова жестом позвал.

Теперь все посмотрели в её сторону. Надо идти. Ноги странно ослабли и словно прилипли к полу. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий...»

— Иди, иди к аналою, — подтолкнула старушка, стоявшая рядом.

— Как зовут тебя?

— Вера!

— Какое хорошее имя! Расскажи о себе, — он, опершись на аналой, сложился едва ли не пополам, говорил чуть слышным шёпотом. — Не молчи, дай душе выговориться!

Вера почувствовала вдруг, как из глаз побежали слёзы. Она испугалась — не плакала с похорон Мишеньки. Да и тогда слёзы только навернулись на глаза. А сейчас лились.

— Пьёшь давно? — спросил старик.

— Давно.

— Колешься?

— Сейчас нет...

Он стоял, чуть ли не привалившись грудью к аналою, склонив к ней голову. Она чувствовала сиплое, старческое дыхание. Со стороны казалось, будто они срослись головами. Через полчаса, когда очередь на исповедь устала проявлять

нетерпение, регентша вызвала второго, молодого священника с бойкими карими глазами. Тот вышел, дожёвывая что-то на ходу и стараясь скрыть это.

— А что отец Александр? — молодой священник подставил регентше ухо. — Плачет? — и выразительно поиграл бровями. Давая понять, что и ему непонятны причуды старика. Регентша в ответ пожала плечами.

— Много, много грехов набралось, матушка, — шептал священник, по-детски утирая слёзы рукой. — Тяжкие грехи, как душа твоя жива ещё. А самый тяжкий — грех отчаяния. Как я могу отпустить его? И не отпустить не могу... Обещай неделю ходить ко мне на исповедь. Обещаешь?

— Нет!

— Почему?

— У меня сердце разорвётся...

— Видишь, как бесы-то поселились в твоём сердечке! — он вздохнул и с тихим стоном выпрямился. — Господь и Бог наш Иисус Христос благодатью и щедротами Своего человеколюбия да простит ти чадо Вера, и аз недостойный иерей, Его властью мне данную, прощаю и разрешаю тя от всех грехов твоих, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь! — старик всё ещё опирался одной рукой на аналой. — Поцелуй крест и святое Евангелие, — и истово перекрестил её. — А Иисусову молитву читай, читай всё время!

У выхода она оглянулась. Старик мелко крестил её и смотрел вслед, подслеповато щурясь. У старинных ворот церковного садика сидела старая бомжиха с рыжим котом на поводке. Вера остановилась возле неё, та мигнула, мол, иди-иди, от своих не берём. Бомжи, как и бывшие эки, узнают своих в любом наряде. Вера подумала, приостановившись на секунду, достала бутылку и сунула старухе. У той чуть не вывалилась челюсть от удивления. Вера, чувствуя какую-то особую лёгкость, вытщила и банку с пивом, окончательно смутив бомжиху.

Две недели Вера П. словно летала. Соседки, Роза с Любкой, не узнавали её, а ответственная за квартиру старуха Хая Гиршевна просто называла ангелом. Вера ангелом себя и чувствовала. И вокруг что-то изменилось. Пришёл перевод из издательства, про который давным-давно забыла. Денежки, пусть чепуховые, оказались к месту: как раз свалились на голову квартирные счета, старые долги.

А потом страшная огромная луна стала всю ночь смотреть в окно. Прямо в глаза. Вера переложила подушку и легла задом наперёд, чтобы не видеть её, но луна отражалась в лаковой двери шкафа, отблеск её виделся в косо висящем зеркале и даже на вымытом и сдуру натёртом полу. И стал приходить Мишенька. Сначала почти незаметно, будто подглядывал из-за стекла, а после совсем зримо: красно-жёлтая рожа луны вдруг принималась корчиться от небесной судороги, — и появлялся Мишенька. Но не тот, что был перед самым концом, а маленький, каким его и не видела, с детских фотографий: красивый мальчик, аккуратно стриженный и причёсанный на косо пробор. Каждый раз спрашивал: ты жива? И ждал ответа. Она понимала, что если ответит «да», сразу спросит: «А для чего ты живёшь? Зачем?» И начиналась свистопляска: мешалась в голове Хая Гиршевна с издательской редакторшей, Мишенькины друзья и знакомые, исчезнувшие бесследно ещё при его жизни.

По ночам, в неверном лунном свете все набивались в комнату: «Зачем живёшь? Зачем тянешь волюнку? Ведь жизни-то нет! Это ж видимость! Люди играют в жизнь. Ты посмотри, оглянись, протри глаза! Одни прикидываются поэтами — ты им знаешь цену, другие ломают ваньку друг перед другом, тащатся в театр, смотрят белиберду, которую стряпают другие жулики, важно обсуждают её после, а третьи просто сопят,

как сурки и размножаются... Не думают, зачем живут, но всё равно играют то в продавщиц, то в кандидаток медицинских наук в очках за триста долларов, то в потаскух у трёх вокзалов. Только и делают, что переодеваются, чтобы сыграть перед другими! А ты кто? Для чего смотришь на себя в зеркало? Кого видишь? Ах, не смотришь? Врё-ёшь! Боишься, как Миша, честно, с девятого этажа?» И по старинному зеркалу, притащенному когда-то с помойки, шли судороги. Особенно перед тем, как там появлялись странные тени. Тени выдавали себя за тех, кто когда-то смотрелся в зеркало.

Поначалу помогала Иисусова молитва. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий...» Но лунная нечисть быстро к ней привыкла. «Посмотри на клоунов-священников! На постные лица, изображающие иконописную святость, смотри внимательно! Веришь им? Веришь? Смотри, как они лоснятся, на откормленные щёчки, животы, что уже и не пытаются скрыть под золотыми епитрахиями! А смазливые мальчишки со скромными рожищами!»

Страшно было, что время от времени нечисть говорила разными Мишенькиными голосами. Она помнила его студентиком с кожаной папочкой под мышкой, точнее, не его, а голос, помнила, как подсел на бульваре, спросил зажигалку, чтобы закурить, и, глядя сквозь огонёк зажигалки, спросил: «Как тебя зовут?» Сразу на ты, будто знал, чувствовал свою власть.

Приходила и старая бомжиха с рыжим котом. Сначала явился кот. Рыжая луна превратилась в его рожу. Рожа растягивалась, кривлялась в кривом зеркале и не исчезала, в отличие от зеркальных теней. Те, если их перекрестить под Иисусову молитву, на время скукоживались, затихали, как Хая Гиршевна, если покрыть её матом. А после кота повадилась и старуха. Тогда, уходя от церкви, от старика-священника, Вера оглянулась, — старуха грозила ей вслед кулаком. «Старая б...!» — но удержалась, видно, молитва, навязанная на язык священником, не позволила.

Бомжиха и сказала: «Что не идёшь к священнику, обещала приходить на исповедь каждый день! Иди, быстро!» — И тоже корчилась, как от хохота вместе со своим котом на поводке. Прочитала мысли, старая ведьма!

А идти в церковь не получалось. Не несли ноги. По пуду на каждой. Не сдвинуть. Вчера летала, носилась, как в тринадцать лет, когда влюбилась впервые. А тут — только подумаешь о старике — по пуду. И не сдвинуть. И опять же поначалу, когда только решишься идти, помогала молитва. Но с каждым шагом уменьшалась её сила, убывала. Несколько шагов — и всё.

В один из дней удалось замешаться в жиденькую праздничную толпу возле храма. Войти со всеми было легче. Священник увидел её и снова позвал жестом на исповедь. Прежде всех. Вера не помнила, что говорила тогда. Так, отрывки. Что трудно идти в храм, ноги не несут. «Бесы идти не дают. Путы на ноги накидывают. Это как идти на крутую гору, — сипло, с одышкой, словно сам шёл в гору, сказал старик. — Трудно, ноги не идут, но надо. Хоть ползти. Не оглядываясь. Смотреть с молитвою Иисусовой только вверх, в небо, не оглядываться».

Ночью выйдешь на улицу — на юге, низко над горизонтом ярчайшая звезда созвездия Девы, Спика. Бело-голубая. Мишенька учил находить её. И светит, не мигая. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий...» — светит, не мигая. Будто забыли выключить.

Вдобавок на Бульваре зацвёл жасмин. Мишенька смеялся: «Не жасмин, а чубушник!» Всё равно жасмин. Сладко пахнет. Ночью, когда перестают гонять машины, слышно, как опадают его тяжёлые лепестки. Ночью легче дойти до храма. Он стоит, осевший в землю, придавленный временем, склонивши на бок главный

купол. На кресте блик, дальний отблеск звезды. Тут не помогает и молитва. Ноги не несут. Круг очерчен. За — нельзя. «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий...» Кончается сила молитвы, помоги мне! Не молчи, дай знать, что Ты есть, дай поверить в Тебя! Почему по ночам является нечисть? Прошу, помоги, дай увидеть Тебя! Буду служить Тебе, только объявись, избавь от ночных мразей!

В ближайшем магазине узбек со смешным для русского уха именем Насреддин потихоньку отгёр её в угол и задышал жарко.

— Выпит дам, закусит дам! — и чуть не затолкал её в дверцу между полок. Из-за дверцы высовывались швабры и мятые, грязные коробки из-под фруктов.

Она машинально взяла первую попавшуюся бутылку и грохнула его по голове. На счастье, Насреддин был в тубетейке. Удар пришёлся вскользь, он только ахнул и осел на пол, порезав руки осколками. Прибежал его хозяин-узбек, что-то кричал, пинал ногами осколки, велел Вере заплатить за вино. Чтобы избежать скандала. И что-то сломалось в ней. Медленно взяла ещё бутылку и пошла навстречу хозяину.

— Я сейчас заплачу, козёл!

Тот не стал дожидаться платы, юркнул в каморку с тряпьем.

— Заплатишь, заплатишь! — почему-то с ударением на последнем слоге кричал он оттуда.

Насреддин сидел на полу, бессмысленно скребя окровавленными руками. Пришлось растолкать любопытных и выйти из магазина. Уже подходя к дому, поняла, что несёт в руке бутылку коньяка и размахивает ею.

— Верочка, что с тобой, ты вся в крови! — встретила её ответственная Хая Гиршевна. И отступила, схватившись руками за лицо. Такого мата она не слышала никогда. Или, во всяком случае, давно.

Бутылка коньяка кончилась быстро. Быстрее, чем половина убывающей луны впёрлась в окно. Пришлось идти на улицу. Добавлять. И потом как-то прийти домой. На автомате. Зато без чертей в зеркале, без гнусных рож и злобно кривляющихся котов. А утром пошла в магазин за опохмелкой и специально прошла мимо храма. Легко! Никто не держал и не мешал. Нет этих сил, отступили!

В садике за старинной оградой у маленькой двери храма стоял молодой священник, жмурился от яркого солнца и торопливо докуривал сигарету. Держа её по-солдатски, в горсточке.

— Что надо? — окликнул он Веру. — Куда идёшь?

И узнал её. Курнул раз-другой, пригасил сигарету о каблук, поискал глазами, куда бросить окурок, сунул в карман серой ношеной рясы.

— В отпуске отец Александр, за штат вывели! Иди отсюда с Богом! — и проследил, как она пошла к воротам. Сколько ещё будут ходить разные!

Вторая уже сегодня. Старуху с рыжим котом на поводке выставили уборщицы. Только котов и бомжей не хватало!

Молодой достал из кармана рясы сложенную вчетверо камилавку, встряхнул её, надел на голову и исчез в дверях храма.

Ирина Колесникова

Свидетельство о рождении

* * *

в доме чистили мандарины
стал игрушечным год большой
забираясь по серпантину
на макушку сосны живой
чтобы там незаметный глазу
ожидая бокалов звон
кто-то новый родился сразу
и все поняли, это он —
человек или год хороший
так на время своё не похожий

* * *

и жизнь, и смерть необъяснимы,
но тем и мучают меня,
когда по очереди мимо
мой дачный домик обходя,
они ещё не видят смысла
ворваться и пройти насквозь,
чтобы в назначенные числа
судьба, природа — всё сбылось

* * *

слово рваное ножевое
и закончился разговор
тянешь яблоко мне живое
и молчишь помню до сих пор
радость кислого примиренья
и сбежавшего червяка
мамин сад папин день рожденья
и дырявые облака

Колесникова Ирина — поэт. Родилась в г. Владимире в 1983 году. Окончила филологический факультет Нижегородского государственного Университета имени Н.И.Лобачевского. Автор двух поэтических сборников «Вслух о тебе» (2017) и «Между голосом и словом» (2019). Живёт в Екатеринбурге.

* * *

День задумчивый и грустный
хрустнет корочкой арбузной
и в копилку упадёт
на карманные расходы.
Бабушка приедет с дачи,
белых астр привезёт,
огурцов, кота, варенье,
трав сушёных от давленья
и остаток колбасы.
Встали в комнате часы,
и на улице темнеет,
будто человек болеет —
взрослый, маленький, какой?
Пахнет с улицы прохладой,
пахнет дымом и тоской,
и душе чего-то надо...
Лето стёрто, как помада,
с новой папиной рубашки
нервно маминой рукой.

* * *

когда наступал март
подруги моей брат
шёл с папой в цветочный
но это не точно
часа на четыре подряд

они покупали большие тюльпаны
мечтая уехать в заморские страны
и маму с сестрой посадив в жигули
по суздальской трассе влюблённо везли

и мне до них не было в общем-то дела
на счастье чужое я просто смотрела
машина исчезла но шапки мимоз
под окнами кто-то куда-то всё нёс

шёл праздник весны из квартиры в квартиру
и плакали мама вдвоём с тётёй Ирой
опять не забили решающий гол
а папа решился и всё же ушёл

Мюд Мечев

Детство в Пуговичном переулке

Фрагмент повести

Об авторе и его книге

Мюд МЕЧЕВ (1929—2018) — российский художник-график, иллюстратор, пейзажист, Народный художник Российской Федерации. Наибольшую известность и признание ему принесли три цикла работ: иллюстрации к карело-финскому народному эпосу «Калевала» (первые подходы — в конце 40-х годов); более 400 гравюр к «Повести временных лет», созданные в 1975—1990 годах; иллюстрации к «Новому Завету», над которыми он пятнадцать лет работал с начала 1990-х. В 1993 году был награжден Иоанном-Павлом II серебряной медалью римского папификата «За гуманизм и достижения в искусстве». Работы Мюда Мечева хранятся в крупнейших музейных собраниях мира, в том числе в Третьяковской галерее, в собраниях Библиотеки Конгресса США и Ватиканской апостольской библиотеки.

Основанная на детских воспоминаниях художника повесть «Детство в Пуговичном переулке» датирована 1980—1991 годами. Впервые опубликована в московском издательстве «Волчок» в самом конце 2022 года.

Место действия — Москва, время действия — вторая половина 30-х годов XX века. Герой повести вместе с папой (художником), мамой (преподавателем), бабушкой (маминой мамой) и младшим братом живет в коммуналке в Хамовниках, учится в школе. Светлый мир, стоящий на взаимной любви, уважении к семейной истории, на революционных идеалах и непреложных принципах порядочности, рушится после ареста отца.

Как не просто выжить, но найти силы не сломаться, ведь отец, уходя навсегда, сказал: «Ты теперь главный мужчина в доме». И такой опорой для героя повести становятся слова любимой бабушки (папиной мамы). Завещание на все времена.

«Мой друг! Я полагаю, мы расстаемся навсегда... Возьми себя в руки и не плачь. Дело важное, и я хочу, чтобы ты запомнил мои слова на всю жизнь, ибо хотя то, что я хочу тебе сказать относится к вам всем, но почему-то моё сердце подсказывает, что я должна говорить это, глядя именно на тебя!

Мы живём в ужасное время! Но оно пройдет. И я верю, что ты увидишь иное время, и надеюсь, что и твой брат и твоя мама — тоже. Нам посланы большие

Мы благодарим издательство «Волчок» за предоставленную возможность познакомить читателей «ДН» с фрагментом повести Мюда Мечева «Детство в Пуговичном переулке».

испытания, и именно в это время легче всего будет разлюбить свою страну. Но создавали её многие, и твои деды и прадеды — также. Ты услышишь много слов о том, что ты должен любить свою родину, и тебе многие будут говорить: "Люби её — она самая свободная! Люби её — она самая счастливая!" И все это может быть справедливым или ошибочным. Но ты помни одно: Родина — не парламент, не банк с деньгами, не рай земной, хотя и так бывает, помни, что всем нам — она мать родная, и именно за это её люби. И другой родины у нас не будет, другой родины мы не получим. А будет ли она всем тем, что ей сулят, это будет зависеть и от нас, и от многого другого! И ещё. Помни, ты можешь быть бедным — это плохо, ты можешь быть глупым — это ещё хуже, ты можешь быть несчастливym — и это не лучше предыдущего, но если ты всю свою жизнь будешь помнить, что ты благороден и своей жизнью докажешь это, ты будешь — человек! Это мои последние вам и тебе слова...»

Сей бледный цвет не вдруг замечаем, ибо непригляден суть. Но сущее оному не отнимут ни ветер, ни светило небесное, ни губительная морозы зимняя, ниже самое время. Nature недостает горечь им источаемую истребить, она — душа сего растения. А имя ему полынь суть — вечная горечь.

«Язык цветов». Сочинение шляхетнаго сухопутнаго кадетнаго корпуса воспитанника и кавалера русской службы виконта де-Севбо. 1793 года

Посвящается Оле

I

Осень. Облетели листья с деревьев, и за окнами комнаты серо, темно, пусто. Тихо в нашем переулке. Ведь мы живем не в центре, а на окраине, в Хамовниках. Дом наш большой, трехэтажный, из кирпича, и двор большой, огороженный со стороны улицы зеленым дощатым забором; у парадного нашего дома стоят скамейки, и на них восседают старухи, которые всё знают, а напротив дома — сарай. Наш район — старинный, до революции жили в нем, по словам бабушки Зинаиды, «порядочные люди», а теперь, по ее же словам, — «все кому не лень». И эти «кому не лень» населяют и наш дом, и дом напротив, и еще много других домов. Они шумные, крикливые, довольно грязные, вороватые, но все эти качества не мешают им заявлять при каждом удобном случае с гордостью о своем пролетарском происхождении... а стало быть, будущее принадлежит им, и они люди особые, и все это понимают и стараются с ними не связываться. В их квартирах целыми днями орало радио, на кухнях сушилось бельё и гудели примуса, и оттуда часто слышалась брань; и скандалы возникали то в одном, то в другом окне. По выходным они пели под гармонь песни, потом обедали, потом пили чай, потом — к вечеру — раздавались шум и крики, что-то падало и гремело, и зареванные женщины прибегали к нам звонить по телефону в милицию; появлялась милиция, и кого-то уводили...

Наш переулок называется Пуговичный, и если идти из нашего парадного входа, то попадешь в Лопухинский переулок, а если идти по нему дальше, то попадешь в Оболенский переулок, а оттуда уже видна усадьба Льва Толстого, которая стоит в Хамовническом переулке, и здесь же наша старинная церковь, а за ней — Хамовнический плац и Хамовнические казармы.

Я очень люблю наш район: он старинный, и домов много старинных, и названия — прелесть! Трубецкой переулок, Несвицкий, Божениновский, Чудовская улица, Крымский проезд!

Тихо в нашем Пуговичном переулке. Еще тише в наших двух комнатах в квартире на первом этаже. Мы жили как мыши: тихо-тихо говорили, тихо ходили, чуть слышно включали радио... Мы боялись. Мы боялись... Мы — это наша мама, бабушка Варвара Ивановна, брат и я. Мы жили в двух комнатах, а в третьей, за стенкой, жила наша соседка Дуся, и ее прозвище было Психичка, а наше — общее — Буржуи.

Мама наша нигде не работала — ее уволили, и целыми днями она или искала работу, или продавала вещи и книги, и мы все это держали в секрете, поэтому она по утрам всегда в одно и то же время уходила и приходила вечером, как будто с работы. Бабушка стряпала, шила и штопала, я ходил в школу, а брат сидел дома или гулял, он еще был маленький, и был глуп, и мог за столом спросить, например: «Мама, а когда придет папа?» Или: «А почему мы теперь не едим сливочное масло и не пьем молока?»

На что мама отвечала ему: «Масло и молоко вредны, а полезны толокно, черный хлеб...» «И суп из гороха?» — продолжал брат. «Да, и суп из гороха. А сейчас ешь и молчи».

А на то, когда придет папа, вообще не отвечала. Но он, конечно, дня через два забывал мамины слова и опять спрашивал то же самое или что-то похожее.

Бабушка Варвара Ивановна лицом мне всегда напоминала индейца, такое оно у нее было суровое, всё в морщинах. И она самая смелая из нас и самая молчаливая. Мама наша — красивая, но волосы совсем седые; и хотя одевается она красиво, но всем ясно, что никакой красивой одеждой бедность не скроешь, а я знал, что мы теперь — бедные, и очень страдал от этого, то есть не оттого, что бедные, — это-то не беда, это я понимал, — но оттого, что все нас презирали за это. Ведь мы были не просто бедные, мы были интеллигенты, мы были чистые, мы были «ученые», а по мнению нашего двора, позорнее этих сочетаний и быть ничего не могло. Бедняк должен быть грязен, рван, он должен ругаться, пить водку, петь песни, и, конечно, никаких, там, книг или картин у него не должно быть. Топчан с тюфяком, ну, стул, ну, стол, ну, корыто на стене, ну, чайник на столе. А то картин повесили, а самим жрать нечего! Но это, конечно, была самая безобидная причина всеобщего к нам презрения. Хотя... вот еще: наша мама говорила на «иностранном» языке, а моя бабушка — вторая моя бабушка, Зинаида — не только, в отличие от мамы, не скрывала этого, но и могла в магазине довольно громко обратиться ко мне по-французски, за что весь наш двор считал нас не только «буржуями», но еще и евреями, и это мне почему-то было обиднее всего. Я не думал, что это плохо, но очень уж они отвратительно ржали при этом.

Так мы и жили: тихо, бедно и всего боялись.

Но особенно нам было неприятно и нас все время пугало присутствие двух людей, которые почти все время стояли под нашими окнами у липы и делали вид, что отдыхают, беседуют и так просто... курят. Увидев их, мы с братом отходили от окна, но занавесок задвинуть не смели, мама не велела. «Пусть все знают, что нам скрывать нечего!» — заявила она однажды, глядя на человека в кепке, который стоял спиной к нашему окну и курил. «Не смейте задвигать занавесок!» — сказала она. И добавила: — Мы — советские люди!»

И я уже тогда хотел умереть, так как страдал от такой жизни ужасно; и эти страдания становились еще ужаснее, когда я думал, что вся наша жизнь всегда и будет такая: то есть мы должны страдать, это наша доля, а все остальные — смеяться над нами и презирать нас. Хотя почти все от нас отвернулись и я понимал, что я барчук

и это позорно даже для меня, но в глубине души я также понимал, что и я, и вся наша семья не только не хуже всех остальных людей, но даже, может быть, и лучше: моя мама — профессор, моя бабушка Варвара Ивановна — революционерка, вторая бабушка...

Тут я несколько спотыкался в своих мыслях, потому что вторая бабушка, Зинаида, до революции была статской советницей и хотя и была виновата, что я барчук, а все мы буржуи, но я так любил эту бабушку, что, хотя мысленно и укорял ее происхождением, всякий раз, когда видел ее или думал о ней, понимал, что она — лучше всех! Как было ее не любить! Никакой работы она не боялась: шила, мыла, стирала, стряпала, умела топить печи, колоть дрова... была на турецкой войне, умела стрелять, ездить верхом, знала массу интересных вещей и вдобавок была умна и при этом весела! Да... еще один недостаток... Она молилась. Правда, по-французски, но — молилась. Где она теперь, ма гранд мер?! Вот кто бы объяснил мне, что происходит с нами, ведь я же не могу спросить об этом обо всем ни маму, ни бабушку. Ведь это ясно, стоит только посмотреть на их лица. Про брата и говорить нечего: мал и к тому же глуп как пробка, всем во дворе заявляет, что наш отец ушел, а потом вернется, а они ржут при этом до тех пор, пока он не начнет рыдать и бабушка не пошлет меня за ним, и хорошо, если еще мне удастся вернуться, не получив ни одного тумака! Тоже мне брат! Молчал бы! Ведь молчу же я. Молчит мама. Молчит бабушка. И на все это он и может только заявить: «Вот вырасту, тогда и замолчу!»

II

Так и идет время, и за всю эту осень произошли только два запоминающихся события, и оба они связаны с братом.

Однажды утром он обратил внимание на свою одежду и заявил, что... «более жить в этой одежде не желает!». После этих его слов за столом воцарилась тишина, и бабушка, и мама, и я — мы все смотрели на брата, а он, упоенный тем вниманием к нему, которое ощущал в эту минуту, повторил снова:

— Не желаю жить в этой одежде!

— Что ты выдумываешь? — спросила мама.

— Не выдумываю! Я одет как нищий... не модно! И у меня... — он всхлипнул, — нет радостей, необходимых ребенку!

— Замолчи... Вечером ты получишь новую одежду, — сказала мама, и губы ее задрожали.

Бабушка при этом стала смотреть в окно, а я пнул брата под столом так, что он тут же зарыдал, но мама, поднявшись из-за стола, ничего мне не сказала, а ушла в свою комнату и закрыла за собой дверь, но все равно мы с бабушкой знали, что она ушла плакать; а брат этого ничего не понимал, так как был, как я уже говорил, глуп и, наревевшись, попросил у бабушки старые журналы, и она дала ему их. И я заметил, что он смотрит только журналы мод, и понял, что этот идиот выбирает себе фасон. А мама, одевшись и напудрившись, ушла из дома, как будто бы на работу, и я еще заметил, что после ее ухода на книжной полке вместо томов Мутера осталось свободное место, и бабушка сразу поставила туда свою шкатулку с шитьем, как будто бы это место нельзя было отдать мне для моего картонного замка, который стоит все время на полу возле батареи, и я все время боюсь, что на него кто-нибудь может наступить.

Алексей Малашенко

Васильки памяти

Тому повезло, кто во взрослой жизни иногда умеет возвращаться в детскую память. Порой нелепо-невозможным кажется, что такое бывало, зато весело верить, что такое не повторится. Хотя бывает, что и повторяется.

Большая часть моего «политического детства» пришлась на Хрущёва.

Михаил Ромм, тот самый, который придумал фильм «Обыкновенный фашизм», писал: «...Про Хрущёва сказать было нельзя "красавчик", но "душенька" — говорили»¹.

На лице Никиты Сергеевича никогда не было безразличия. Чаще всего оно светилось улыбкой, но, если он сердился, становилось злобным. Обычно это случалось, когда он обвинял кого-либо — империализм или интеллигенцию — в чем-либо. Однако его ярость всегда была искренней, а не театральной.

Хрущёв — что на портретах, что на экране — выглядел моложавым. Не дедушкой. Он родился в 1904 году, но представлялся мне «мужчиной в самом расцвете сил», таким «Карлсоном, который живёт на крыше».

Не то чтобы в свои шесть-двенадцать лет я любил или не любил Хрущёва. Он воспринимался как обстановка в комнате, как двор за окном. Его портрет висел вместе с портретами прочих советских вождей, из которых запоминалась Фурцева, единственная тетя в составе Президиума ЦК КПСС. Фотки были скучными. Уже выйдя из пионерского возраста, я услышал в песне Галича: «Безликие лики вождей».

Самый большой, висевший в центре галереи руководителей портрет Ленина в глаза не бросался. Он был замечен по госпраздникам, когда его развешивали на стенах домов, порой закрывая им окна. Интересно, как бы вождь мирового пролетариата отнесся к такому количеству своих физиономий? Возможно, в отличие от пришедших ему на смену «чудаков», приказал бы их убрать.

Интеллигентный большевик Глеб Максимилианович Кржижановский в 1924 году, выступая на вечере воспоминаний о Ленине, процитировал его слова: «Вы не можете представить себе, до какой степени неприятно мне постоянное выдвигание моей личности»².

Малашенко Алексей Всеволодович — российский востоковед, исламовед, политолог. Доктор исторических наук, профессор. Один из ведущих российских специалистов по проблемам ислама.

Алексей Всеволодович скоропостижно скончался, когда этот материал готовился к публикации. Редакция скорбит о потере своего давнего замечательного автора и выражает соболезнование его родным и близким.

Помимо статей, публицистики и воспоминаний мы публиковали и его рассказы. Предыдущая публикация в «ДН» — 2022, № 4.

¹ *Михаил Ромм*. Четыре встречи с Хрущёвым. «Огонёк». № 23 (3181) 9—16 июня 1988.

² Цитировано по: *Н. Мор*. Живой голос современников. «Новый мир», № 4, 1970. С. 239.

Самый поздний портрет Ленина мне попался в 2022 году на конфетной обертке. Конфета, которой угостила меня жена Наташа, называлась «Ильич».

В столице стояли ленинские памятники, но они выглядели невзрачными и торчали то возле заводов, то у дверей научно-исследовательских институтов. В девяностые в чистеньком дворе на Красной Пресне я наткнулся на очень грязный бюст Ленина с отломанным носом. Вождя стало жалко.

В 1985 году в Москве воздвигли монументище при въезде на Ленинский проспект. Ничего ленинского, сравнимого с конной статуей Петра I в Ленинграде, соорудить в столице не сумели.

Главным памятником вождю мирового пролетариата служил мавзолей (до разоблачения культа — мавзолей Ленина-Сталина). Его посещали делегации партийных съездов, братских социалистических стран, а также простые граждане из советской провинции. Москвичи туда не рвались. Папа однажды сказал «давай сводим его (меня) в мавзолей», на что мама возразила — «не надо, еще испугается». И мой визит к саркофагу отложился почти на двадцать лет. Я попал туда лишь в 1971 году, когда на съезде комсомола работал переводчиком с делегацией Палестины. Впечатления тело Ленина не произвело. Это был манекен. Я оценил слова бабушки Сони, называвшей его «сушеным архиереем». Куда симпатичнее остались в памяти мумии фараонов в Египетском национальном музее в Каире. Какими живыми были пальцы на их руках.

До окончания перестроечного времени Ленин оставался божеством, пусть порой и жестоким (как античный Зевс). Пристегнутая к моей школьной гимнастерке звездочка с его изображением была иконкой. Как пелось в одной песне, «Ленин всегда живой...» (поэт — Лев Ошанин, который был хорошим поэтом).

Ветви оделись листвою весенней,
И птицы запели, и травы взошли.
Весною весь мир отмечает рожденье
Великого сына великой земли.
Ленин — это весны цветенье...

То был гимн египетскому богу Осирису, про которого мы читали в школьном учебнике истории. На кремлевском вершине общество считали детским садом, которому можно втюхивать все что угодно.

В конце шестидесятых в русско-советском языке появилось слово «лениниана». Оно означало все, что писалось, говорилось, пелось, показывалось по телевизору и в кино про Ленина. Термина «сталиниана», тем более «брежневiana», получить уже не могло, хотя немало писателей, художников, композиторов в этом направлении работало.

Портретов Сталина не помню — их сняли через два года поле моего рождения. Изображения Маркса и Энгельса встречались редко. Маркс из-за большой бороды был узнаваем. С Энгельсом дела обстояли хуже — к его вытянутому лицу приходилось присматриваться. Слово «марксизм» было на слуху. Про «энгельсизм» ни в детстве, ни в юности я не слышал.

В 1972 году, когда я служил переводчиком в городе Мары (Туркменская ССР), в руки попался «Устав гарнизонной и караульной служб вооруженных сил СССР», принятый 8 сентября 1963 года и подписанный министром обороны СССР маршалом Советского Союза Р.Я.Малиновским. В приложении № 6, «Примерное оборудование караульного помещения», было прописано, что «в общей комнате для личного состава должны быть наряду с уставами, газетами и журналами, шахматами и шашками, столом для обеда и стульями еще и портреты». Чьи — не указывалось. Время от времени портреты снимались и заменялись на новые. Делалось это не по приказу начальника караула, а по распоряжению людей с самым высоким политическим чином.

Великих праздников с массовым развешиванием именитых портретов было два: Седьмое ноября и Первое мая. Их длинные официальные названия: Праздник Великой Октябрьской Социалистической революции и Праздник международной солидарности трудящихся. У нас дома они отмечались «торжественными завтраками» с пирожками.

Восьмого ноября 1967 года — на следующий день после седьмого ноября, когда отмечалось целых 50 лет советской власти — мы с одноклассником Сашей Пименовым гуляли по улице Горького от площади Пушкина до Манежной. Хотелось «пройтись по празднику». Дожде-снег, холод, пустые улицы. Ни единого светлого окна, закрыто все, где можно посидеть, выпить чаю или даже рюмку. Тошно. «Вот так», — сказал Саша. А в голове: неужели все это советское навсегда? На мрачной улице Горького ощущалось, что нас обманули и ничего путного от этой советской власти ждать не стоит. Отпраздновали.

В 1956 году родители получили новую квартиру, точнее, комнату в восемнадцать метров, прежде мы проживали на четырнадцати квадратных метрах вместе с маминной мамой, то есть моей бабушкой.

Квартира располагалась на третьем этаже дома № 12 по 3-й Тверской-Ямской улице. Прежде там жили немалые сталинские чиновники. Мы оказались в трехкомнатной квартире бывшего начальника следственного отдела госбезопасности генерал-лейтенанта Влодзимирского Льва Емельяновича. Даже по нынешним временам квартира была просторная. В ней имелся туалет с окном (!), за кухней — отдельная комната для прислуги.

Бывшего хозяина квартиры я не знал, его расстреляли в декабре 1953 года. А вот с его женой, веселой Софьей (Сусанной) Яковлевной Марьяновской, знаком был. И отношения у нас с ней, несмотря на разницу в возрасте — мне лет шесть-семь, а ей на несколько десятков больше (она только что вернулась из ссылки), — сложились самые дружеские.

Что такое ссылка, я тогда не ведал. Об истории жизни соседки родители не рассказывали. Зато все всегда улыбались друг другу, не обращали внимания на то, чья чашка на чьем столе стоит, а чья очередь подметать на кухне пол, не выясняли никогда. Если родители ожидали много гостей, меня отправляли спать к Софье Яковлевне. Мы не были типичной озлобленной коммуналкой.

Дом, в который мы переехали, еще незадолго до того был «на особом положении». Остатки этого «особого положения» мы, «рядовые» дети, выходя гулять во двор, ощущали на себе. Отрезанный от остального мира двумя железными, толщиной с детскую руку воротами, он был поделен на два садика, заходить на газоны не позволялось. В саду справа стояли четыре скамейки, на одной из которых постоянно восседала маленькая женщина лет от пятидесяти до семидесяти (в женских возрастах я не разбираюсь) в шубке-курточке.

Даму звали Слава Лазаревна, и она бдительным оком следила за соблюдением дворового порядка. Иногда подзывала мальчиков и девочек, чтобы сделать замечание. Замечания в основном сводились к тому, что мы топчем траву, раскачиваем огораживающий сад зелененький заборчик или просто громко кричим. Однажды она сказала десятилетней девочке, что та слишком высоко задирает ноги. Внимания на Славу мы обращали мало, самые дерзкие ее даже поддразнивали. Но она была частью двора, нашей общественной жизни.

Другую общественницу, Елену Андреевну Бабкину, мы инстинктивно побаивались. Бабкина жила в нашем подъезде на втором этаже и часто, стоя у окна, грозила пальцем малолетним нарушителям порядка. Могла выйти и прикрикнуть,

могла пожаловаться родителям. Поговаривали, что у Бабкиной было даже какое-то воинское звание.

Работы у общественниц хватало. Наш двор был проходным, но войти в него можно было только через ворота, которые по вечерам (года до 1958-го) закрывались на тяжелые замки. Потом запирать их перестали, и дворник, отвечавший за этот процесс, лишился важной части своей ответственной работы и заработка.

Прозывали дворника Хлус. Откуда такое прозвище — не знаю. По праздникам — на Седьмое ноября и на Пасху — он обходил квартиры, и жильцы давали ему денежку, мама, кажется — один рубль (пирожное в ГУМе стоило три рубля).

Хлус был рудиментом сразу двух режимов: царского и сталинского. На свой дворничий манер он всегда оставался частью порядка как такового.

Машин в нашем дворе, кроме старенького «Москвича» и одной «Победы», не водилось. Зато к нам приезжал старьевщик, которому Хлус всегда открывал ворота.

Наверно, жизнь в доме на Третьей Тверской-Ямской походила на мамину жизнь в ее доме на улице, названия которой я не знал, когда ей было столько же лет, сколько мне. И к ней во двор тоже приезжал татарин-старьевщик и протяжным голосом кричал: «Старье бере-е-ем». Голоса отца и деда старьевщика наверняка слышали и наши бабушки.

Я становился подростком и умнел. Тем временем Хрущёв, напротив, все меньше разбирался в происходившем вокруг. И его сняли.

Для простого советского человека падение Хрущёва было неожиданным. На этот счет у, слава богу, не забытого актера Михаила Казакова в воспоминаниях есть такой пассаж: о снятии Хрущёва со всех постов Казакову сообщил по телефону его приятель. И далее: «Четырнадцатого октября мне исполнилось тридцать лет... В одиннадцать часов вечера я на своем москвиче рванул в ресторан “Националь”, что напротив гостиницы “Москва”, докупить напиток, того самого, что стоил тогда 4 рубля 12 копеек, правда, без ресторанной наценки. Отоварился. Сел за руль и, пока разогревал машину, думал про себя: “Что за чушь, однако! Если Хрущёва сняли, отчего на фасаде гостиницы “Москва” в самом центре столицы висит панно с его изображением?” И буквально в эту секунду огромное панно дрогнуло и медленно поползло вниз. Как загипнотизированный, я сидел в москвиче, не в силах оторвать взгляда от снижающегося изображения Хрущёва...»¹.

Я же в связи с этим событием изобрел целый стих:

Портрет, ты меня раздражаешь,
Ты висишь уже много лет.
Ты думаешь, ты меня знаешь?
Нет, дорогой мой, нет.
Ты на меня не смотри.
Я и пыль-то с тебя не стираю вот уже года три.
Знаешь, я завтра встану чуть свет,
Сниму тебя и поставлю в угол.
А на твоё место повешу другой портрет,
Наверное, такое же пугало.

Поэт из меня никакой, но стишок тот был искренним. Актуальным он оказался и для следующих двух десятков лет.

Ощущения от исчезновения Хрущёва после октябрьского 1964 года пленума ЦК КПСС были простыми. В тот исторический день в вагоне метро я раскрыл газету «Правда» (мы ее выписывали) и прочел эту новость. О том, что произошло большущее событие, я догадывался, но сопричастности к нему особо не ощущал. Впрочем, как и весь советский народ, который был слишком далек от власти.

¹ Михаил Казаков. Фрагменты. — М.: Изд-во «Искусство», 1989. С. 265—266.

Пока снимали Хрущёва, из космоса вернулись наши космонавты Комаров, Егоров и Феоктистов. Понятно, что на их торжественную встречу его не пригласили, а фотографии, на которых Никита Сергеевич беседует с космонавтами по телефону, как и ту, на которой он в 1961 году держит за руку Юрия Гагарина, надолго засунули в архив. По-человечески за Никиту Сергеевича было обидно.

Хрущёва смыло мгновенно. Вместо него появилось длинное слово «волюнтаризм», которое означало, что бывший глава партии «что хотел, то и делал», никого не слушая. Хрущёва не критиковали, а как-то «лягали» — за кукурузу, за то, что слишком много говорил и обещал... К тому же его шикарный лозунг «догнать и перегнать Америку» выглядел чем дальше, тем глупее. Присоединения им в 1954 году Крыма к Украине никто не заметил. Кто б мог подумать, чем эта «шутка» обернется спустя 70 лет.

В один прекрасный день 1964 года на концерте в Колонном зале Дома Союзов сатирики Рудаков и Нечаев, которых, как говорили сведущие люди, он очень любил, исполнили куплет, где пелось, как «в церкви провели сокращение штатов и сократили звонаря», и далее припев: «Снежок-снежок, белая метелица, и вообще с недавних пор звонари не ценятся». Раздался дружный смех и гром аплодисментов. В зале собрались те, кто все понимали и во всем разбирался. Я сам смотрел этот номер по черно-белому телевизору и тоже смеялся. Хотя за куплетистов было стыдно.

Еще ходил анекдот: при Сталине был культ личности, зато и личность была. Говорят, его придумали в КГБ. Хотя Хрущёв тоже был личностью, и уж во всяком случае не такой злобной.

Вместо Хрущёва у власти встала троица: Брежнев Леонид Ильич, Косыгин Алексей Николаевич, Подгорный Николай Викторович. Первым, на кого я обратил внимание, был председатель Совета министров Алексей Николаевич. Он казался очень деловым, хотя и немного скучным. Но его хотелось уважать. Вскоре после снятия Хрущёва он давал каким-то двум английским журналистам интервью, которое показали по телевизору, отвечал на вопросы коротко и понятно. Никаких присущих Хрущёву эмоций.

Брежнева было мало, Подгорного еще меньше. До населения быстро дошло внутрипартийное прозвище Подгорного — Пусто-Пусто: есть такая костяшка в домино. На Брежнева поначалу внимания не обращали. Ничего при нем не случилось: ни кукурузы, ни целины, ни карибского кризиса.

После снятия Хрущёва прекратилось преклонение перед вождями. Стало понятно: все они там хороши. После смены одной советской власти на другую, тоже советскую, все ждали чего-то лучшего, хотя чего конкретно — не представляли. Жизнь тускнела, магазины пустели, в них стояли очереди почти за всем; красивую одежду привозили из-за границы, приличная еда была в продовольственных заказах с растворимым кофе, печеньем и чем-то мясным. Иногда попадалась курица, не те знаменитые впоследствии «ножки Буша» — американская курятина, которая поддерживала нашу жизнь в канун исчезновения СССР, а жирная венгерская курица.

Было жалко себя, было жалко и Родину.

Кстати, что такое Родина? Ведь это не только то место, где ты сознательно или случайно был произведен на свет. Почему ее надо обязательно любить и можно ли ее не любить? Вопрос пресквернейший. Родину-то не выбирают. Кому как повезет.

О величии Родины много рассказывали в школе: и про Великую Октябрьскую социалистическую революцию, и про Великую Отечественную войну, и про то, как «широка страна моя родная...», где, между прочим, «так вольно дышит человек». Широту, величину Родины я усвоил еще до школы благодаря политической карте мира. Карта была размером в полкомнаты, я по ней ползал. И гордился тем, что она

такая большая, что ее можно гладить шестилетними ладонями. Это тебе не Англия, которую прижмешь одним пальцем, что я иногда и делал.

Про Родину пелось много песен. Наизусть помню: «У дороги чибис, у дороги чибис <...> это нам с тобою, всем нам дорогое, это наш родной, родной любимый край». Но это, простите, о русской родине. Пели ли про чибиса сверстники из Узбекистана, Туркменистана, Грузии и прочих республик, я не представлял. И водился ли тот самый чибис на краю каракумской пустыни или у подножия Алтайских гор?..

Хорошо было, проживая в двух-трех остановках метро от Кремля, ощущать все вокруг «великой Родиной». А какой представлялась Родина моим казахским, грузинским, не говоря уже о латвийско-литовско-эстонских, сверстникам?

В песне из военного детектива «Щит и меч» Родина начинается «с картинки в твоём букваре <...> с той песни, что пела нам мать <...> с окошек, горящих вдаль <...> со старой отцовской будёновки» (кто помнит, как она выглядит, и кто знает, что сшили ее по мотивам шлема русского *дореволюционного* воина?).

Где теперь те горящие вдаль окошки и дорога проселочная, которой не видно конца? Та, песенная Родина пропала. Ни «старую отцовскую будёновку», ни московский бизнесцентр я назвать Родиной не могу и не хочу. У каждого своя Родина во времени и в пространстве. Где-то эти родины совпадают, а где-то — нет.

Для меня Родина начиналась с деревни Черепково, в которой родители с 1957-го по 1964 год снимали дачу, точнее, половинку небольшого домика. Там, в черепковской подмосковной глубинке, все было *мое*. Я еще не вырос в москвича, был равнодушен к городу, а здесь становился частью окружающего мира.

То, что в Союзе Советских Социалистических Республик живут не только разные люди, но и разные народы, я увидел на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке (в 1959 году переименованной в Выставку достижений народного хозяйства), обходя фонтан «Дружба народов». Фонтан был грандиозен. Как и сама ВСХВ/ВДНХ. Меня водили туда много раз, и никогда мы не могли обойти всю ее разом.

Все тамошние павильоны делились на две части. Одни — про разные народы: азербайджанский, армянский, белорусский, грузинский и далее по алфавиту; другие — про разные производства: машиностроение, химию и т.д. Выставка была копией Советского Союза в миниатюре, точно выстроенной в идейно-политическом плане. Перед входом стояли «Рабочий и колхозница», свидетельствуя незыблемость и правоту советской идеологии. А уже потом — великий фонтан интернационального единства, которое опиралось на единство классовое. То есть сначала ты рабочий и колхозница, а потом уже узбек, украинец, русский, грузин... Так оно и было на самом деле, до известного случая с развалом СССР.

Себя я видел советским. Да, учили мы русский язык, который воспринимался как советский язык, хотя такого понятия не было и быть не могло. В классе третьем-четвертом я знал, что есть «советская пионерия». Если б кто-то сказал тогда про «русских пионеров», я бы просто не понял. Но вот то, что Хрущёву, когда он прилетал в Ташкент или во Фрунзе, букеты цветов вручали узбекские или киргизские пионеры, видел. «Русские пионеры» никаких цветов никому не вручали (наверно, им не доверяли).

Вот за что можно сказать спасибо советской идеологии и пропаганде, так это за то, что национализм ей был чужд. Коммунизм не подарок, но национальная озлобленность в его идеологию не входила. Даже деление на «старших» и «младших» братьев было не столь заметно. Национальная обособленность, конечно, существовала, что и способствовало распаду Советского Союза, но рухнул он все же из-за экономики.

Не почуял я национальных проблем и когда в мои семь лет папа с мамой возили меня в Сухуми к деду Грише. Дед Гриша еще до войны сбежал на Кавказ от бабушки Симы и обрел счастье с польской женщиной, которую звали Елена Михайловна.

Как ее звали по-польски, я так и не узнал, как не знаю, откуда она взялась в Сухуми. Ее этническое происхождение никого не интересовало.

Не интересовала и национальность мальчишек, с которыми я с утра до вечера возился в проходном дворе длинного барака, где обитали деда Гриша и ЕлМих (так она подписывалась в письмах). Постепенно выяснилось, что моими товарищами были греки, абхазы, грузины, армяне и цыганята. Богатейший материал для статьи о межэтнических отношениях в СССР. Никто ни к кому не обращался «эй, ты, грузин, армянин, цыган...». Все были «детьми проходного двора», а не «носителями разных этнических культур».

Музыку песни «Мой адрес Советский Союз» написал Давид Тухманов, слова — Владимир Харитонов. В ней много вранья. Например, слова: «Сегодня не личное главное, а сводки рабочего дня». Песня была сотворена в 1972 году, когда всякий нормальный человек догадывался, что самое главное и есть личное: квартира, дача, автомобиль «Жигули», холодильник с колбасой, нормальная, а не «инженерская» зарплата. К тому же, если главное «сводки рабочего дня», то Советский Союз — прежде всего адрес рабочего места у станка, в коровнике или в канцелярском кресле. Песенку хорошо исполнили «Самоцветы», для которых их личное так же было главнее «сводок рабочего дня».

И все же такая страна была. Я не из тех, кто тоскует по СССР и вспоминает о нем с лирическим благоговением. Советскую власть обожали далеко не все, и меньше всего те, кто профессионально понимал ее ущербность и непригодность для нормальной человеческой жизни.

Но СССР был землей, где мы родились, выросли, познакомились и подружились. Для меня, востоковеда, для коллег из советских республик, взрослых «мальчиков и девочек», СССР был местом общения и, да, дружбы. В этой «квартире» мы жили и не представляли, как можно жить иначе.

В 1991 году мы вдруг поняли, что общежитие распалось.

В 1992 году в городе Чимкенте (ныне Шимкент), что на юге переименованной в Республику Казахстан тогдашней Казахской Советской Социалистической Республики, в новенькой, по тем временам шикарной гостинице шла востоковедная конференция, на которую собралась публика с самых разных концов необъятной родины: от Ленинграда и Москвы до Еревана, Баку, Фрунзе, Ташкента и Хорога (столицы Горного Бадахшана, что в Таджикистане). Щедрые хозяева устроили вечер с участием учениц местного хореографического училища, с которыми можно и нужно было потанцевать. А мы, человек десять, сбившись в одном большом номере, пели Высоцкого и украинские песни. Оказавшийся в нашей компании посол Монголии затянул протяжную «песнь Чингисхана» (так он ее назвал), мелодия которой отвечала нашему грустному настроению.

Чимкент 1992 года не связан с детскими воспоминаниями, но тогда мы чувствовали себя брошенными, осиротевшими детьми. Некоторые участницы конференции и нашего застолья даже всплакнули. Это было прощание и со страной, и друг с другом, потому что все понимали, что наши встречи невероятно осложнятся и видятся многие из нас в последний раз. Так оно и случилось.

Скажи тогда кто-нибудь, что некоторые наши постсоветские «отчизны» будут враждовать и даже воевать друг с другом, мы бы не поверили.

Для многих Родина означает еще и государство. Никто не спорит, взаимосвязь тесна. Но это не одно и то же. С чего начинается Родина, допустим, можно догадаться, а вот с чего — государство? С «Боже, царя храни», «Интернационала», трижды

переписанного советского гимна, с генсека, президента, с прихода династии Романовых в 1613 году или с ее свержения в 1917-м?

Отношение к государству двойственное: с одной стороны, оно нужно и неизбежно, с другой, когда оно делает мало чего хорошего, хамит, его хочется ломать революционным путем. А может, лучше его вообще не трогать, а то будет еще хуже? До уразумения, что государство можно и нужно совершенствовать, перестраивать, менять тех, кто им руководит в данный момент, на более толковых, большинство не доросло. Да и лень этим заниматься. Один советский лозунг гласил: «Государство — это мы», а кому хочется менять себя? Французскому королю Людовику XIV, в апреле 1655 года сказавшему: «Государство — это я», — было проще, речь-то шла всего об одном персонаже, а меняться всем сразу невозможно. Практика показала: какими мы все были, почти такими и остались (остаемся).

Но в детстве государство ощущалось как нечто незыблемое, точно как пелось в советском гимне — «союз нерушимый». Сталин говорил про человекoв-винтикoв и был прав, потому что именно эти детали и держали государство в целости. Раскрутите винтики — хоть в самокате, хоть в космическом корабле, — и механизмы развалятся. В 1991 году эти винтики и раскрутились.

Главной и самой понятной частью государства была армия, Советская армия. Войну, в которую мы играли, едва научившись ходить, выиграли солдаты, бойцы Красной армии.

Армию смотрели (по телевизору) на параде. Парады проводились дважды — на 7 Ноября и 1 Мая. Первомайский парад, не помню когда, отменили. В самом деле: празднуют, понимаешь, международную солидарность трудящихся всех стран, а тут — танки. Уцелевший ноябрьский парад стал вдвое дороже. Я им наслаждался. Маршал на черном ЗИСе, солдаты, дружно и могуче кричащие «ура», а за ними — пушки, танки и ракеты. Но было одно печальное для меня обстоятельство: перед колонной суворовского училища шли юные барабанщики — мои ровесники в красивой форме и с гордыми лицами. И всякий раз бабушки, которые смотрели парад вместе с папой и мамой, говорили: «Какие мальчишки, какие труженики!» — и бросали взгляд на своего внука, дескать, не то что ты. Меня это задевало, вызывало комплекс неполноценности. Оттого, наверно, до самого повзрoсления суворовцев я не любил.

Парадам предшествовали тренировочные вечерние проезды военной техники по улице Горького. Мы, мальчишки, стоя на тротуаре, вдыхали запах горячего, дрожали от рева моторов и с завистью поглядывали на видневшиеся в люках шлемы танкистов. Танки дышали непобедимостью. Я ими гордился, следовательно, гордился государством.

На чердаке черепковского дома случайно обнаружилась книжечка «Военная хитрость и сметка», где было написано, что «военная хитрость и сметка прививаются советскому воину еще в мирное время...»¹. Это было про меня. На военную форму я смотрел с уважением и умел отличать старших офицеров с большими звездами от младших — с маленькими. Самым уважаемым воинским званием было полковник. Полковники носили папахи, что придавало им особую солидность.

Когда, поступая в первый класс, я надел гимнастерку и подпоясал ее жестким ремнем с железной пряжкой, чуть-чуть почувствовал себя «военным солдатом» и был этим горд. Когда, уже в третьем классе, гимнастерки сменили на серые гражданские пиджачки, расстроился — в нем чувствовал себя не по-мужски.

Так что мальчиком рос я вполне милитаризованным.

В 1972 году в Советскую армию вернули чин прапорщика. Это вызывало во мне, уже двадцатилетнем, удивление, если не сказать обиду. Прапорщик казался пережитком

¹ Д. Гребенников. Военная хитрость и сметка. — М.: Военное издательство Министерства обороны СССР, 1955. С.4.

прошлого, он служил в царской армии, про которую мы тогда слышали только плохое. В разных фильмах эти прапорщики то расстреливали, то пытали красноармейцев и партизан. Да еще поговорка была «вся рота шагает не в ногу, один господин прапорщик шагает в ногу». Прапорщик в Красную армию не вписывался.

Чужим для нее оставался и поручик — тоже белогвардеец. Обращения «товарищ поручик» не существовало. Зато была песня «Не падайте духом, поручик Голицын». Напевать ее мы стали уже в старших классах. Были там и такие слова: «А в комнатах наших сидят комиссары и девушек наших ведут в кабинет». Симпатии к комиссарам это не добавляло. Вообще, восприятие комиссаров становилось все более скептическим, даже несмотря на романтическое окуджавское «и комиссары в пыльных шлемах склонятся молча надо мной». Те, которые вели девочек в кабинет, пыльных шлемов явно не носили.

Армия должна с кем-то сражаться, на то она и армия. Настоящей войны в то время не хватало. Зато у Советского Союза было много врагов, злые физиономии которых заполняли журнал «Крокодил». Врагов рисовали художники Кукрыниксы: Куприянов-Крылов-Соколов и Борис Ефимов. Делали они это «на пятерку» — американский президент Эйзенхауэр, испанский диктатор Франко, немецкий канцлер Аденауэр, глава тайваньской клики Чанкайши... — эти и прочие империалистические породы были ужасны, но не страшны.

Конечно, неприятности империалисты и их пособники могли учинить. Особенно НАТО (созданное в 1949 году, за два года до моего рождения). К НАТО я относился плохо, знал, что в нем собрались все наши недруги, а в детском воображении оно представлялось толстой каменной стеной, за которой поднимались неприятного цвета башни.

В 1955 году появилось СЕАТО — Организация Договора Юго-Восточной Азии, которая просуществовала всего-то до 1977 года. В 1958 году возник доживший аж до 1979 года Багдадский пакт. Если НАТО выглядело крепким серым замком, то от всех этих СЕАТОВ и пр. оставалось чувство размазанной по тарелке невкусной каши. Почему — не знаю. Уважения они не вызывали. Ясно было, что со всей этой шайкой ничтожеств наши танки легко справятся.

Созданный СССР в 1955 году *наш* Варшавский договор представлялся яркой, внушительного вида картой.

В окружающем мире обитали, однако, не только враги. Было много друзей из социалистических стран — Болгарии («братушки»), Чехословакии, Венгрии, Польши, Кубы. На слуху были имена руководителей: ГДР — Вальтера Ульбрихта, Венгрии — Яноша Кадара, Польши — Владислава Гомулки, Болгарии — Тодора Живкова... В 1971 году Ульбрихта сменил Эрих Хонеккер, и вскоре появилась шутка, что Брежнев любит его больше других вождей, потому что тот умеет целоваться лучше их всех. Чемпионом в этом состязании был сам Леонид Ильич.

Социалистические вожди всегда улыбались и благодарили СССР.

Самым симпатичным выглядел глава Вьетнама Хо Ши Мин. Его улыбке хотелось верить. Еще был кубинский революционер Фидель Кастро. Относились к нему с уважением, тогда пропаганда требовала, чтобы оно было просто-таки восторженным. Ясное дело — революция! И где! В Америке, напротив самих Соединённых Штатов!!! И стихи слагали, и песни пели. Не знаю почему, но эти песни распевать не хотелось — они были лишние, что ли. Не хватало у меня нужного пафоса.

Кастро примелькался быстро. Он казался слишком уж большим другом Хрущёва. Популярным был анекдот: заходит Фидель Кастро к Хрущёву, снимает бороду и говорит: «Всё, больше не могу, Никита Сергеевич». А тот ему в ответ: «Надо, Федя, надо».

Больше всего любили китайцев. Может, потому что они были малорослыми, скромно одетыми (на фотографиях) и оттого выглядели младшими братьями. В недавно построенном в Лужниках спорткомплексе на женском волейбольном матче Китай — Польша до отказа забитый зал дружно скандировал: «Китай, Китай, давай, давай!»

И так кричали мы до середины 1960-х. Потом что-то поменялось. «Наш» Мао Цзэдун перестал быть нашим. В 1966 году грянула Великая пролетарская культурная революция. Появились хунвэйбины. Профессором в то время я не был, в китайских делах разбирался как все, то есть на уровне средней школы, хунвэйбинов невзлюбил сразу. Корежило и то, что китайские неприятности называли великой, пролетарской, культурной, да еще и революцией. Испортить такие замечательные слова! Ведь ими описывалась вся наша советская история. Запомнился газетный текст 1967 года: «Прославленная на весь мир китайская классическая опера принесена в жертву культу Мао Цзэдуна. Блистательные исполнители, воспитанные в тысячелетней традиции классического искусства, превращены в читчиков цитат из трудов “великого кормчего”». Промелькнула лихая зарубежная цитата, мол, Мао — «Тимур XX века»¹. При чем тут Тимур, было непонятно, но к Тимурову этому у советских людей отношение всегда было негативным. Тимур, или Тамерлан (1336—1405) был тюрко-монгольским захватчиком, которому ныне в центре Ташкента стоит грандиозный памятник.

К тому времени во дворе я обзавелся парой матерных слов и напевал песенку:

И, конечно же, знаю отлично я,
Как они произносятся,
Только что-то совсем неприличное
На язык ко мне просится...
Ху... вэйбины...

Кроме китайского постоянным политсюжетом оставался Вьетнам, где в 1960-е годы шла война против американцев. С одной стороны, все было понятно: в Южном Вьетнаме «хозяйничают» марионетки Вашингтона, народ голодает и потому ведет против них и их американских хозяев справедливую партизанскую войну. В Северном Вьетнаме при помощи СССР строится социализм, и северные вьетнамцы не могут не помогать своим южным братьям. В отместку американские империалисты все время бомбят Северный Вьетнам, но «ихние “фантомы”» сбивают. Сначала сбивали из зениток (это показывали по телевизору), а позже — ракетами. Успешно сражались вьетнамские асы, которых, как выяснилось, готовили в советских военных училищах. О том, что кроме них МиГ⁷ами управляли летчики невьетнамской национальности, в конечном счете тоже стало известно. Появился анекдот: почему во Вьетнаме нашим летчикам трудно управлять самолетами? Потому что им приходится пальцами разводить глаза, чтобы походить на вьетнамцев. (Анекдотец был не нов — первый его вариант появился во времена корейской войны, когда советским пилотам приходилось изображать корейцев.)

К вьетнамской войне быстро привыкли. Она стала «дежурным блюдом» советской пропаганды.

Еще друзьями были народы Азии и Африки. Негров я уважал. Чернокожие страдали, поскольку были рабами у американских и прочих эксплуататоров. «Хижину дяди Тома» читал, к тому же в Детском театре шел спектакль под таким же названием, в котором мама играла одну из главных ролей.

В 1959 году мы купили телевизор и поставили его в коридоре. Софья Яковлевна и новые соседи, молодые брат и сестра Борис и Галя, не возражали. Телевизор был

¹ За рубежом. 20—26 января 1967 г.

большой редкостью, и его смотрение походило на поход если не в театр, то как минимум в кино. Телевизору верили больше, чем газетам, читать которые было скучно. Телевизор уважали. Слово «ящик» вошло в обиход намного позже. Стали появляться передачи на международные темы. Начиналась новая информационная теле-эпоха. В 1962 году я вместе с остальным народом начал смотреть «Камера смотрит в мир». В 1969-м — «Международную панораму», в 1974-м — «Девятую студию», которую вел Леонид Зорин. Много позже журналист и телеведущий Леонид Парфёнов написал, что Зорин живостью не отличался. А кто ею в советские времена отличался? Талантливыми ведущими были Бовин, Боровик, Зубков, Сейфуль-Мулюков — называю лишь те фамилии, которые первыми пришли в голову. Да, те международные программы были по большей части однотипны и глупо-идеологичны, но добрые полжизни я ухитрялся находить в них что-то полезное и даже любопытное. К тому же они сопровождалась кадриками Парижа, Нью-Йорка, Каира, Рима. Пропагандистское долдонство скользило мимо ушей. Хамов вроде нынешних к пропаганде не допускали. Сравнить те программы с аналитическими передачами эпохи перестройки и девяностыми годами, когда «все было дозволено», даже собственное мнение, некорректно (à propos, нынешних я просто не смотрю).

«Клуб кинопутешествий» (позднее — «Клуб кинопутешественников») особенно притягивал, когда его вел кинорежиссер Владимир Адольфович Шнейдеров. Там показывали то, чего ты не только не видел, но и, как тогда казалось, не увидишь. Звучала песня «Множество стран на планете светят огнями столиц...». Столицы эти, океаны, джунгли и иностранные улицы располагались в другой галактике, путь к ним измерялся световыми годами. То была *за-граница*, куда попадали из числа знакомых моих родителей единицы, и то в основном — не дальше Польши, Болгарии и ГДР.

О чуждости «заграницы» пелось в известной песне на стихи Михаила Исаковского:

Летят перелётные птицы
В осенней дали голубой,
Летят они в жаркие страны,
А я остаюсь с тобой,
А я остаюсь с тобою,
Родная навеки страна,
Не нужен мне берег турецкий
И Африка мне не нужна.

Рассказывают, что лояльный к советской власти Маршак однажды в беседе с друзьями назвал ее арией домашнего гуся.

Маршак во многом разбирался, но только не в экологии. Потому и написал:

Человек сказал Днепру:
— Я стеной тебя запру <...>
— Нет, — ответила вода, —
Ни за что и никогда!
И вот к реке поставлена
Железная стена.
И вот реке *объявлена*
Война,
Война,
Война! (курсив мой. — А.М.)

Слова «экология» в моем детстве не существовало. Природу любили, но с ней надо было бороться, побеждать ее «капризы». Любить ее учил едва ли не единственный трогательный писатель Виталий Бианки, чьи рассказы порой читали по радио.

Теперь выключаем телевизор и радио. Два слова о неизбежном нашем пионерстве.

Вступление в пионеры было первым общественно-политическим шагом. Принимали в пионеры всех. Лозунг «Пионер всем ребятам пример» был странным, поскольку получалось, что пионер должен быть примером всем остальным пионерам.

Устраивались торжественные линейки — форма: белый верх, темный низ, — разносы: «Плохо учишься, а еще пионер». Случались сборы металлолома, во время одного из которых мы утащили сваленные возле находившейся по соседству со школой больницы МОНИКИ батареи парового отопления. Потом пришлось по снегу тащить их обратно. Когда катишься по России на поезде, видишь несметное количество брошенного железа. Никаким пионером, ни старым, ни новым, собрать его не под силу.

По телевизору показывали торжественные приветствия разным съездам: юные пионеры маршировали мимо рядов делегатов, а самые бойкие читали стихи, посвященные ленинской партии.

Выходила скучнейшая газета «Пионерская правда», а по радио, кажется, раз в неделю звучала «Пионерская зорька», которую я слушал только тогда, когда ее вела моя мама.

Были пионерские песни, например:

Взвейтесь кострами, синие ночи,
мы — пионеры, дети рабочих...

Над смыслом их я не задумывался. Неверно, потому что не был дитем рабочих. Как назло, в голове чаще вертелся стишок из какого-то фильма, где кулацкий сын напевал:

Пионеры юные, головы чугунные,
Сами оловянные, черти окаянные...

Пионерским салютом, то есть взмахом правой руки над головой, овладеть было нетрудно, как и зазубрить клятву «Всегда готов», но... ощущение пионерства испарялось, а в седьмом классе мы стали стесняться носить алые галстуки. Идеюности они не прибавляли и превратились в детские атрибуты. Хотя в школе повязывать их приходилось. В вышедшем в 1955 году фильме «Старик Хоттабыч» оба юных героя не снимали галстуков даже на ковре-самолете.

По телевизору пели пионерские хоры, главными певуньями в них были пионерки с дамскими формами, на их груди галстуки выглядели неуместно, если не сказать извращенно.

Лично я не помню ни одного случая, когда кого-нибудь из пионеров изгоняли. Такое произошло лишь в спектакле Центрального детского театра «Друг мой Колька», там с игравшего роль пионера молодого мужчины старшая пионервожатая снимала галстук. Выглядело нелепо.

Пионерство как метод политического воспитания оказалось несостоятельным. Добрую память о нем сохранили, возможно, побывавшие в Артеке. Я этим лагерем любовался только издали, из крымского города Гурзуф, даже не им, а Медведь-горой, под которой лагерь располагался, и завидовал пионерам, плававшим на маленьких катерках. Те пионеры были привилегированными детьми.

На наше пионерство, а потом и комсомольство пришлось множество песен о трудностях, которые беспрестанно требовалось преодолевать. Сочинялись они талантливыми композиторами и поэтами.

Чуть охрипший гудок парохода
Уплывает в таёжную тьму,
Две девчонки танцуют на палубе,
Звёзды с неба летят на корму...
Верят девочки в трудное счастье.

Музыка великой — без шуток — Пахмутовой, слова Николая Добронравова, с которым мама училась на одном курсе.

А наше незабвенное:

Люди идут по свету,
Им вроде немного надо...

Гимн советской идеологии. Нам — не всем, ясное дело — действительно требовалось немного. В то же время велено было жить хорошо и весело, несмотря на «временные трудности», про временность которых я помню со школы. И все время следовало чем-то жертвовать во имя светлого будущего. Жертвовать, однако, хотелось все меньше и меньше, как и радоваться более чем скромной жизни.

Нормальный человек рано или поздно умнеет, задает себе, обществу, государству вопрос: почему счастье должно быть обязательно трудным, а он, человек, должен довольствоваться немногим? В советские времена обещали светлое будущее, предлагали потерпеть, сколько терпеть — не говорили.

Теперь бедность оправдывается особой идентичностью, принадлежностью к русской цивилизации, в основе которой нестяжательство, жертвенность, презрение к сытости и проч. Этим российская традиция должна принципиально отличаться от западной, носители которой только и думают о том, как бы им жить еще лучше. Нам же достается опять «верить в трудное счастье».

Писатель Паустовский в апреле 1917 года написал: «Народу нужен хлеб, земля, его права — его воля, нужно прочно сколотить свою жизнь, чтобы не думать мучительно о завтрашнем дне...»¹ Как все просто. И, заметьте, этого хотят *все* народы, что западные, что восточные. «Трудного счастья» хочет абсолютное меньшинство, и это самообман.

Пока я подрастал, триада «православие, самодержавие, народность» была запрещена, о ней, кроме историков, уже мало кто слышал. Ее компенсировала констатация того факта, что «партия — наш рулевой», звучавшая в известной песне. КПСС была тождественна православию, самодержавию и народности вместе взятым.

Самой частой речевкой был лозунг «Слава КПСС!». Он звенел на всех собраниях и съездах. На съездах его выкрикивала «группа приветствия», в которую назначали горластых мужиков, скандировавших: «Ленинской партии слава, слава, слава!» Народ отвечал анекдотом. Грузин говорит: кто такой Владимир Ленин — знаю, кто такой Иосиф Сталин — тоже знаю, но скажи, кто такой Слава Капэээс?

Любая пропаганда лжива по определению. Ее цель — вдолбить в человека только одну точку зрения: государства, партии, монарха, исключив всякий иной взгляд. Пропагандист априори уверен, что он умнее своего слушателя и зрителя. Отсюда у него ощущение безнаказанности.

Литературный критик Наталья Иванова отождествила пропаганду с дрессировкой². В нашей стране эта дрессировка была одной из основ политики. До определенного момента она очень успешна. Но потом человек, некстати для себя, вдруг просыпается... и перестает в нее верить.

Страшную вещь скажу. Первой пропагандистской книгой был Талмуд, за ним Евангелие, позже — Коран. Возмутились? Прошу прощения. Но именно там излагались бесспорные истины и постулаты, которым всем надлежало следовать и которые

¹ Константин Паустовский. Подборка «Из разных лет». — «Новый мир», 1970, № 4. С.97.

² Наталья Иванова. Трагедия преданности и её комедия. — «Огонёк» № 21, май 1989.

запрещалось нарушать. Разбираться, как писалось Евангелие и как редактировался Коран, — дело богословов и религиоведов. Но ведь «улучшались» же, редактировались священные книги. Или я неправ?

Последней из священных книг была программа КПСС.

Лет с тринадцати я начал слушать нехорошие радиостанции, прежде всего пресловутое Би-би-си. Все знали присказку: есть обычай на Руси ночью слушать Би-би-си. И слушали, внимали Анатолию Максимовичу Гольдбергу, которого писатель Войнович справедливо назвал «великим комментатором». Бибисишные известия были увлекательнее наших.

Слушал и радиостанцию «Свобода», которая была совсем уж антисоветской. Там выступали диссиденты — тогда это было новое, непривычное слово. Хулил советскую власть и «Голос Америки», но его я ловил реже, тамошние дикторские голоса звучали скучновато. Больше всех нравилось Би-би-си.

Все вражеские станции приходилось «ловить», то есть беспрестанно подкручивать настройку, поскольку волну постоянно забивали.

Ходил анекдот:

— Рабинович, вы слушали вчера Би-би-си?

— Да, конечно.

— Ну, и что передавали?

— УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ.

Зато не глушили радио Китая. Китайские дикторы на грамотном русском языке «поливали грязью» советских ревизионистов, используя выражение «клика Брежнева». Имя своего собственного вождя они произносили уважительно: «Товарищ Мао Цзэдун», добавляя к слову «товарищ» букву «а», получалось «товарища Мао». Китайское радио походило на юмористические концерты.

Папа рассказывал, что уже после 1968 года в Праге, в ресторане, куда его пригласили чешские знакомые, он услышал такой эстрадный номер. Артист пародировал передачи «Голоса Америки», потом Би-би-си, еще каких-то радиостанций, а напоследок — советского радиовещания, по которому беспрерывно повторялась только одна фраза: «А у нас все хорошо».

Одним из главных слов пропаганды было слово «подвиг». Внушительный хор на сценах и по телевизору мычал: «Зовет на подвиги советские народы коммунистическая партия страны». Подвигом было все: освоение целины, строительство заводов, победа на Олимпийских играх, порой даже хирургическая операция. Сама жизнь в нашей стране считалась подвигом.

Михаил Жванецкий (это уже когда детство мое завершилось) нагло брякнул: «Героизм одного это преступление другого». Лучше не скажешь. Добавлю, что это не только преступление, но и непрофессионализм, элементарное невежество и глупость тех, кто все время посылает кого-то на подвиг. Такой глупостью переполнена вся человеческая история, но в отечественной ее особенно много.

Исключительно важную роль в политике и пропаганде играли запреты, причем они бывали самыми идиотскими, особенно когда доходило до низового — областного, районного — уровня. В 1965 году родители повезли меня в Ялту, в «Дом актёра», где первый заплыв «до буя» по Чёрному морю я совершил под надзором артиста Василия Ланового — капитана Грея, Павки Корчагина и принца Калафа.

В свои четырнадцать лет я шлялся по городу-курорту в шортах. Оказалось, разгуливать в коротких штанах было запрещено. Меня остановила милиция. На первый раз простили. Но тем же днем случился международный скандал: в Ялту приплыли итальянские туристы, и все в шортах. Их отловили. Несчастные макаронники

так и не поняли, в чем они провинились. Их, понятно, отпустили, а местные милицейские идиоты даже получили нахлобучку. С нынешних возвышенных философских позиций не было ли то «конфликтом цивилизаций»? Я же тогда подумал: как много дураков у советской власти, что само по себе было возмутительным диссидентством, пусть и инфантильно-инстинктивным.

(В нынешние времена советский запрет на ношение шортов чем-то напоминает борьба против нетрадиционной сексуальной ориентации. Это даже не идеология, а просто глупость. В античную эпоху боги, герои и их творцы ни в чем нетрадиционном себе не отказывали. Ну и что?)

Советская политика «спотыкалась» на частностях — стилиагах, битлах и... джинсах, выдавая все это за дурное влияние западной цивилизации. Понимая, что при всех потугах родной экономики отвлечь от буржуазных штанов нашу молодежь невозможно, начальство пошло на хитрый ход. В магазинах появились «техасы» — польского производства серые брючки, которые были призваны заменить буржуйские джинсы. Мне такие техасы купили, но они вечно мялись и быстро дырявились. Не то чтобы это воспринималось как трагедия, но зависть к носителям настоящих джинсов и обида на государство, не умевшее делать штаны лучше американских, остались.

В эпоху «джинсовой неполноценности» была популярна песенка Визбора о том, как встретились какой-то африканец и наш соотечественник — технолог Петухов. Африканец все время вопрошал, почему, мол, у вас и того нет, и сего, даже климат противный, а Петухов отвечал ему одними и теми же словами:

Зато мы делаем ракеты
И перекрыли Енисей,
А также в области балета
Мы впереди планеты всей.

Дескать, все-то мы умеем, а делать толком ничего не можем. За кордоном, конечно, хуже, но и коллективизацию делали американскими тракторами, и родное имя «Жигулей» — фиат. Признание, что «у них лучше», не отменили ни советские пятилетки, ни особая российская идентичность. Здесь уместно вспомнить другой анекдот, который появился чуть позже: после осмотра одного советского завода японской делегацией у гостей спросили об их впечатлении, те все время восхищались, какие у нас красивые дети, а в конце добавили: но все, что вы делаете руками, никуда не годится. Версия того же анекдота: на вопрос, насколько мы от вас отстали, улыбочивые японцы ответили — навсегда.

К истории я прикоснулся в третьем классе, когда читал изобиловавший цветными иллюстрациями учебник по этому предмету аж для пятого класса. Там много рассказывалось про несчастных рабов и была на всю страницу картинка босой рабыни с маленькими мальчиком. Рабыня выглядела красивой и, скажем осторожно, очень женственной (сексуальной, но думать так я тогда не умел и не смел).

Хозяевами таких рабынь и рабов были *рЫбовладельцы* — сначала я читал небрежно, путал буквы и удивлялся, почему рабами владели рЫбовладельцы.

Отечественную же историю я сразу стал понимать правильно. Цари были злые. В учебнике они критиковались. Особенно за крепостное право. Исключением был Пётр Первый, которого похвалил даже двоичник из «Доживём до понедельника», сказавший, что, по его мнению, после Петра хороших царей у нас больше не было. Вообще про всю историю до 1917 года писалось только плохое. «Царская империя» приносила народу сплошной вред, мучая и угнетая его.

Несмотря на это печальное обстоятельство Россия побеждала то в Полтавской, то в Бородинской битвах, а также на Шипке. Но это было делом рук не царей, а великих полководцев: Суворова, Кутузова и адмирала Нахимова. Случались великие поэты —

Пушкин и Лермонтов, но от этих вредных для царизма стихотворцев он быстро избавлялся с помощью дуэлей.

Хорошими были, несмотря на свое княжеское происхождение, декабристы, которые «разбудили» Герцена. Герцена я не читал. Однажды начал «Былое и думы», но быстро заскучал. Были еще съездивший из Петербурга в Москву Радищев, а потом Чернышевский.

После декабристов пошли разночинцы, народовольцы, за ними наконец марксисты. Из старших классов мы усвоили Группу освобождения труда, которая состояла из Плеханова, Игнатова, Засулич, Дейча, Аксельрода. Состав легко запоминался по первым буквам фамилий. Революционеров сажали в тюрьмы и отправляли в ссылку. А потом родился Ленин, который быстро научил революционеров, как правильно бороться. Среди марксистов были большевики, которых было больше, и меньшевики, которых было меньше. Про разницу между первыми и вторыми долго рассказывали и в школе, и в университете, но суть разногласий проскальзывала мимо ушей. Ясно было только то, что большевики умнее и лучше. Об этом повествовалось в фильме «Ленин в Октябре». Благодаря Ленину большевики победили.

Потом была Гражданская война, потом коллективизация с индустриализацией, потом Великая Отечественная война, а после нее становилось все лучше и лучше. Про культ личности в учебнике не говорилось.

Такой истории нас учили и такой историей нас воспитывали.

Однако про то, что однажды произнесла моя бабушка — «при царе было лучше», — я почему-то не забывал. Это невзначай подготовило меня к критическому ее (истории) восприятию. Кто знает, может, при царе было и на самом деле лучше? Ведь, судя по статистике, Российская империя развивалась побыстрее, чем ее сегодняшняя правнучка. Но об этом мы узнавали постепенно, с опозданием лет этак на тридцать.

Вместо заключения

В детстве всякая голова пуста и радостна. В нее можно посеять все что угодно родителям, бабушкам, государству. На тех детских «грядках» многое засохло, что-то проползла жизнь, но что-то взошло, зацвело и растет до самой старости.

Воспитывали меня дома правильно. Без — ну, почти без — антисоветчины. Пастернаковский «Доктор Живаго», которого — в миниатюрном формате, с тончайшими страницами — кто-то провез из города Парижа в 1964 году и дал мне на два дня почитать, не понравился.

О сути происходившего вокруг я постепенно догадывался сам. И мечтал о том, что впоследствии, уже в зрелые годы оказалось перестройкой.

Замечательный актер Евгений Весник — мама с ним часто общалась — назвал свою книжку воспоминаний «Дарю, что помню». У Весника «подарки» куда круче моих. У него — розы, у меня — васильки. Но ведь у каждого свой кусочек памяти, который тоже может пригодиться тем, кому еще жить да жить.

Ася Умарова

Полка с чувствами

В одном из своих интервью режиссер Андрей Тарковский сказал: «Художник питается своим детством всю свою жизнь. Оттого, какое его детство, зависит, каким будет его творчество»¹. Для меня малая родина — это место, где сконцентрированы детские воспоминания. Это первое восприятие мира и ощущения, которые остаются с тобой навсегда. И если сегодня я окажусь в тех местах, где прошло детство, они не будут ничего значить для меня без прошлого.

Есть три малые родины, куда возвращаюсь мысленно снова и снова, — это Городовиковск в Калмыкии и два села — Кесалой и Пролетарское — в Чеченской республике. Но все по порядку.

Я родилась в Городовиковске и росла там до восьми лет. Летом и зимой наша семья ездила в село Пролетарское, где жили родители отца и матери. Мама тогда училась заочно в грозненском пединституте. До того она уже окончила педучилище и преподавала в школе. Если телефонный разговор мамы затягивался, она набрасывала на листочке бумаги незнакомку с волнистыми волосами и стрижкой «боб».

— Да, да, да, — говорила мама в трубку и настойчиво обводила карандашом воротник пиджака на рисунке.

А папа отучился в Городовиковске на зоотехника и работал в заготовительной конторе. Он иногда брал меня с собой на работу; на грузовике мы отвозили мясо в лабораторию, а там одна улыбчивая женщина под микроскопом его разглядывала. Иногда позволяла поглядеть и мне. Папа в кабинете заполнял документы, считал на калькуляторе и все время старался меня накормить. А когда был в особо хорошем настроении, рисовал карикатуры, изображая нас в виде смешных животных.

В гостиной у нас стояла «стенка», забитая книгами. Родители выписывали собрания сочинений любимых писателей. Папа читал детективы и приключенческую литературу, а мама — романы и русскую поэзию. Больше всего ей нравился Сергей Есенин, в доме на видном месте стоял его портрет.

Умарова Ася Рамазановна — чеченская художница и прозаик. Родилась в 1985 году в Калмыкии. Окончила филфак Чеченского государственного университета. Повести и рассказы публиковались в журналах «Юность», «Звезда» «Нева», «Дружба народов» и др. Автор сборников рассказов «Унесённая ветром» (Москва) и «Холодные патроны» (на арабском языке, Эр-Рияд). Живёт в Чеченской Республике.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2021, № 10.

¹ https://vk.com/wall-31579470_10379

— Самый красивый — Сергей Есенин, — повторяла мама. Они и внешне были похожи: голубые глаза и кудрявые светлые волосы.

За ужином обсуждали прочитанные книги. На нижней полке «стенки» стояли мои детские книжки. Родители никогда не говорили: «Вот, мы тебе купили книги. Ты обязана их прочесть». Я просто им во всём подражала и — читала. Это были немецкие, русские, английские, дагестанские, восточные сказки — сказки народов мира. Поэтому я росла с пониманием того, что существуют различия между конфессиями и культурами. И у нас дома собирались люди разных религий и национальностей, и я дружила с такими же ребятами, бывала у них в гостях. У Арама ела клубнику в саду, а его бабушка сидела на диване и крутила ручку кофемолки. В их армянской семье часто пили кофе, а потом эту привычку переняли и мы.

А нашу немецкую соседку я однажды ввела в заблуждение. В первом классе я ножницами разрешила тетрадь пополам и решила записывать все, что увижу во дворе. Вдобавок связала для этого блокнота бежевую сумку, вышила на ней розовый тюльпан и прикрепила ляжку. Мама пересаживала цветы на клумбе, и я заметила на лопате мертвого червячка. «Мама, ты его убила!» — воскликнула я. «Отойди», — спокойно ответила она. Я записала: «Червяка убили». Но так как не знала еще всех букв, то напортачила и выбросила листок. Мы сходили в гости. Встречает нас вечером та самая соседка и выражает соболезнование, показывая изумленной маме мою бумажку: «Ну, как же. Ведь Увака убили. Вы мне записку оставили». Потом они долго смеялись.

По выходным было или шумно, или чрезмерно тихо.

— Тише. Не шумите. Папа читает, — шептала мама.

Мы в доме передвигаемся в носочках. А однажды с братом так галдели, что папа прогнал нас из дома, и мы так и стояли перед забором в носках, хихикали и боялись зайти. Подбегали дети и удивлялись. А когда мы рассказывали, что мешали папе читать, они в ответ вежливо улыбались.

Малая родина для меня — это воображаемая полка с чувствами, сотканными из воспоминаний. В прозе и в рисунках я придаю большое значение этому. У каждого есть такая полка, которая хранит истории из прошлого. Вот и моя «полка детства» — это полка той нашей «стенки». Я храню свои книги, как когда-то это делали родители.

Иногда меня спрашивают, на каком языке я думаю. Я мыслю картинками. Так было всегда. Сначала все представляю, а потом обращаю в слова. Набрасываю линером эскизы героев, ситуаций, символов и закрепляю кнопками поверх мудборда¹. В детском садике говорили по-калмыцки и по-русски, в первом классе — на русском, дома — чеченский и русский были равноправны. Мама пела мне перед сном русские колыбельные. С третьего класса я изучала арабский в сельском медресе, но научилась только читать и писать. А вот писать прозу могу только на русском.

Городовиковск. Папа забирает меня и младшего брата из садика позже всех. А уже дома сообщает, что маме сделали операцию, мы пойдем к ней завтра в больницу.

— А теперь — спать, — командует он.

Полночь. Отец дремлет перед телевизором. Мы с братом не можем уснуть. Не хватает маминой сказки на ночь. Как-то на душе без нее стыло. Мы капризничаем, плачем, канючим, что хотим к маме сегодня, а не завтра. Брат толкает папу, будит. Он спросонья наспех одевает нас и сажает на санки со спинкой, которые тащит за

¹ Мудборд — «доска настроения» (от англ. mood-board). Так называют презентацию, собранную из фотографий, иллюстраций, паттернов, слоганов, шрифтов и цветовых схем.

Ганна Шевченко

Игра в слова

Когда мне предложили написать о своей малой родине, я подумала: ну кому интересны чужие сны, фантазии и воспоминания о детстве? Но вот выдался спокойный день, текущая работа сделана, читальный зал пуст — я дежурю на кафедре и играю в слова.

Мои родители познакомились и поженились в городе Советске Калининградской области. Мама попала туда по распределению после ленинградского медучилища. Папа служил в армии младшим офицером после военной кафедры Донецкого политехнического института. Когда мама мной забеременела и пошла в декретный отпуск, отец привез ее к себе на родину, в село Камышатка Шахтёрского района Донецкой области.

Бабушка Аня с дедушкой Ваней жили там с начала 50-х годов. Познакомила их война. В 1941 году они были подростками — дедушке 17, бабушке 16, — и мобилизации не подлежали. Жили в разных областях, бабушка в Донецкой, дедушка в Полтавской. Но когда фашисты оккупировали Украину и погнали эшелоны с молодежью в немецкие трудовые лагеря, судьбы их пересеклись. Они попали в один лагерь в соседние бараки, работали у станков друг напротив друга. В свободное время заключенным разрешалось писать письма, играть в карты, читать газеты. В газетах встречались кроссворды. Бабушка рассказывала, если они с подругами не могли разгадать какое-нибудь слово, то бежали в мужской барак к Ване Шевченко — он всегда все знал. Они оба — и бабушка, и дед — до войны окончили педучилище, и бабушке ужасно нравился самый умный парень лагеря, хоть был он тогда тощий и невзрачный.

В 1945 году, когда Красная армия вошла в Германию, молодежь освободили. Девушки вернулись на родину, парней забрали служить в армию, добивать фашистов. Прощаясь, бабушка и дедушка обменялись адресами, и спустя некоторое время приехал Ваня к своей Ане в поселение Ольховатка Донецкой области.

Бабушка сразу его и не узнала — он после лагеря отъелся, возмужал, раздался в плечах, вырос на полголовы. На нем была красивая военная форма, а на груди медаль «За освобождение Берлина». Бабушкины подружки шептались: «К Нюрке генерал приехал». Поженились. Дедушка забрал бабушку к себе на Полтавщину. Там они прожили несколько лет, там родился их первенец — мой отец. Но жилось им нелегко: ютились в небольшой съемной комнате, и денег едва хватало.

И вдруг бабушка получила письмо от своей матери, что в соседнем селе Камышатка строится новая школа и набирают молодых учителей и даже дают собственное жилье. Молодая семья тут же собрала вещи и отправилась в путь. Так они оказались в моей любимой Камышатке.

Сначала администрация выделила им небольшую хатку-мазанку. Там они прожили лет десять. На моей памяти это был курятник. А бабушка с дедушкой, взяв ссуду, построили красивый светлый дом.

Село со всех сторон окружено холмами. Они наплывают один на другой, сдерживая степные ветра. В самой низине течет узкая речка. Вдоль реки по обоим берегам растут вербы. Думаю, с высоты птичьего полета они похожи на соцветия брокколи — такими монолитными, плотными и сочными кажутся эти деревья. От реки ко дворам тянутся длинные огороды.

Дома тогда строили однотипные: кирпичные, выбеленные известью, с высокими темными фундаментами и серыми шиферными крышами. Перед окнами разбивали небольшие палисадники. Ставни и двери дедушкиного дома были покрашены синей краской. Перед крыльцом — небольшая асфальтированная площадка, за ней клумба с пионами, лилиями и ночными фиалками. К летней кухне пристроили беседку. После того, как бразильские сериалы хлынули на экраны телевизоров, пристройку стали называть «бунгало». Летом от солнца спасали яблоня и груша, посаженные между верандой и калиткой. Сорт яблони никто не знал. Это было мое любимое дерево — ветки его располагались так удобно, что я забиралась на толстый сук и сидела там, наблюдая за суетой во дворе: как бабушка подметает асфальтовую дорожку, а дедушка точит тяпку, готовясь к прополке. Яблоки на этой яблоне вызревали такие сочные и душистые, что соседи с удовольствием уносили домой по ведру — несмотря на то, что у каждого имелось по несколько яблонь и свой урожай зачастую девать было некуда.

За вагонеткой росла груша. Здесь дедушка устроил для меня бассейн: забрасывал в вагонетку шланг и качал из скважины родниковую воду. Когда солнце ее нагревало, я проводила там самые жаркие часы, визжа и разбрызгивая по двору светящиеся капли. Грушу дедушка называл «одеколонной» за странный парфюмерный привкус. В августе плоды наполнялись соком до треска, и стоило запустить зубы в спелую грушу, сок заливал подбородок и слышалось жужжание пчел, слетевшихся на аромат.

Сохранились фотографии той поры, сделанные в летнем дворе. Длинноногая мама с русалочьими волосами и миловидным лицом сказочной Алёнушки стоит в коротеньком платьице, прильнув к молодому отцу, а он обнимает ее за плечи и сверкает ямочкой на щеке.

Наша молодая семья занимала самую теплую комнату. У противоположных стен стояли кровати, разделенные столом и креслом. В изножье детской кровати от угла до двери тянулась книжная этажерка, собранная дедушкой из крашеных досок. В противоположном углу находился Порт-Артур — так бабушка называла место под вешалкой для одежды. Свое название этот закуток получил из-за хаоса. Чего только не было в этой маленькой кладовке: старые газеты, журналы, дедушкины безрукавки, которые зимой он надевал под пальто, бабушкины калоши, бурки и пуховые платки.

Печь стояла в кухне, а кирпичная груба выходила к стене рядом с детской кроватью. Зимой я могла спать без одеяла и не замерзала даже под утро, когда печь прогорала и во всем доме становилось прохладно.

Под окном росла узкая полоска вишняка, за ней виднелся огород — он широким полотном спускался к реке. Летом я засыпала под мирное кваканье лягушек, а просыпалась от пения петуха. Ближний надел огорода бабушка засаживала кукурузой. В июле я тайком от бабушки срывала недозревшие початки с шелковистыми волосами и играла в принцесс. А в августе, когда кукуруза созревала, бабушка варила зрелых «принцесс», и семья съедала их на ужин.

В расцвете лет бабушка была первой модницей села — делала химическую завивку, красила губы, носила туфли с квадратными носами и лаковый ридикюль. Дедушка был довольно крупным мужчиной с добрым простоватым лицом, одевался в светлые рубашки и мешковатые пиджаки. Бабушка, женщина нервная, всегда с тревогой ждала чего-то недоброго и часто раздражалась по пустякам. С возрастом

врачи стали ей выписывать успокоительные препараты. Дедушка же, напротив, был уравновешенным и юморным, он заземлял электричество жены ровным настроением или шутливыми выходками. Начнет, бывало, бабушка что-нибудь раздраженно выговаривать деду, а он станет посреди комнаты да как мяукнет мультипликационным голосом, и все начинают хохотать.

Мама, отсидев со мной полтора года в декретном отпуске, пошла работать фармацевтом в соседний поселок. Бабушка к тому времени вышла на пенсию, и я оставалась с ней. Всю свою жизнь она проработала учителем младших классов. Дедушка к тому времени уже был директором и преподавал историю. Когда бабушка плохо себя чувствовала, он брал меня на занятия и сажал на заднюю парту или за директорский стол в своем кабинете. Мне нравилась эта диковинная комната с красным флагом в углу, гигантским столом и россыпью интересных вещиц на его поверхности: дыроколом, чернильницей, перьевыми ручками и небольшим гипсовым бюстом Ленина.

Однажды завуч привела в кабинет старшеклассника и положила на стол отобранную во время урока колоду карт. Дедушка спросил, не играл ли он на деньги. Мальчик отрицательно замотал головой. Дедушка отпустил нарушителя и положил карты себе в карман, а вечером, после ужина, учил меня играть в подкидного дурака.

Я очень любила бабушку и дедушку. Часто, забравшись к деду на колени, я просила рассказать «про царей», и дедушка описывал одного за другим русских правителей: в каком году родился, отчего умер, и кто после него пришел на престол. Я слушала эти истории, как волшебные сказки. Еще дед наизусть читал поэмы Некрасова, стихи Пушкина и Тютчева. Но нашей любимой игрой были «путаные истории». Когда мама вечером начинала готовить меня ко сну, я кричала из своей комнаты «дедушка, спаси меня!», и дед забирал меня к себе. Мы лежали обнявшись, и дед убаюкивал меня сказочными импровизациями: «Посадил дед репку, выросла репка большая-пребольшая, стали ее тянуть, а оттуда курочка Ряба как выскочит, да как пукнет!» Я хотела на весь дом, а потом, успокоившись, засыпала у дедушки под боком. После отец забирал меня и, спящую, уносил в детскую кровать.

Папина сестра тетя Люда жила с мужем в Краматорске, но они с семьей часто приезжали в село к родителям и оставляли погостить сына Вовку, моего двоюродного брата. И тогда дедушка доставал с полки свои энциклопедии и тренировал нашу с братом память, заставляя на скорость заучивать названия рек, морей, стран, имена государственных деятелей. Президента Заира, руководившего республикой в те времена, помню до сих пор — его звали Мобуту Сесе Секо Куку Нгбенду ва за Банга. Пишу по памяти, честное слово!

Когда мне исполнилось пять лет, отцу, как молодому специалисту, шахта «Булавинская» выделила двухкомнатную квартиру. Мне ужасно не понравилось это место. После дедушкиного белоснежного дома, окруженного садами и заливыми лугами, новая улица, где стояла наша двухэтажка, напоминала трущобы для бедняков из сказок Братьев Гримм. Рыжий сталинский дом был окружен облупленными сараями, кусками покосившегося выцветшего забора и небольшими летними самодельными кухоньками, похожими на ведьмины избушки. Как только мы переехали в новую квартиру, родилась младшая сестра Таня и меня отвели в детский сад. Это было ударом. Выросшая на сельских просторах среди дедушкиных яблонь и бабушкиных пионов, водившая дружбу исключительно с цыплятами и котами, я не смогла вписаться в казенную жизнь и, как дикий зверек, держалась особняком. А когда воспитательница пыталась уложить меня в постель на послеобеденный сон, я представляла, как кричу: «Дедушка, спаси меня!» Но дедушка не приходил. После нескольких недель стресса меня отвезли обратно в село, и к родителям я окончательно переехала только перед школой.

Но с этим переездом сельская жизнь для меня не закончилась — все свои школьные каникулы я проводила у дедушки с бабушкой. Сюда же приезжал и двоюродный брат Вова, и наши подростки младшие — моя сестра Таня и Вовкин брат Лёша. В соседские дворы к бабушкам и дедушкам привозили внуков из разных городов и все мы, сдружившись, проводили каникулы большой компанией. В солнечную погоду резвились на купальне. Речушка была узкой, метра три-четыре шириной, но по берегам росли тенистые вербы, дно устилал песок, и в самых глубоких местах вода доходила до шеи. Текла она вдоль нижних огородов, и у каждого двора была своя купальня. Нам полюбили место, где в воду вдавался огромный пенёк — с него ныряли «рыбкой» и «бомбочкой». Вода была прохладной даже в самую жаркую пору. Нароботавшись с утра в огородах, мальчики и девочки мчались к реке и прыгали в воду на полной скорости, а вынырнув, как норштейновские ежики, плыли на спине по течению, глядя на деревья и небо.

Я помню это ощущение счастья, когда изнуренное тело взрывает воду, а потом вдруг наполняется свежестью и покоем. Мне казалось, вместе с сияющими каплями вокруг разбрызгивается широкая, восторженная душа, рвущаяся из маленькой детской груди.

Так проходило каждое лето. Мы помогали в огороде своим старикам, купались в реке, носились шумной гурьбой на велосипедах по окрестностям, строили шалаши, играли в выбивного, в футбол, в прятки, ставили дворные спектакли для своей родни. Какое счастье, что тогда еще не было интернета и наше детство прошло на природе, а не в виртуальной реальности. Недавно шла по большому торговому центру и наблюдала, как бабушки выгуливали детей в игровой зоне. Комфортные батуты, пластиковые полосы препятствий, скалодромы с мягким ковролиновым покрытием, имитирующим траву. Люди одомашнили себя окончательно. А в нас сохранялась еще хоть капля дикости. Но однажды мы выросли, и все закончилось.

Когда бабушка и дедушка умерли, отец продал дом — кто будет жить в селе, где нет работы? Там поселилась молодая семья: муж, жена и двое детей. Семья оказалась пьющей. Приехав в 2010 году из Москвы, я попросила отца свозить меня в Камышатку, посмотреть на любимые места и сходить на могилу к старикам. Картина, которую я увидела, была удручающей. Калитка свалилась с петель, забор покосился, краска на ставнях облупилась, некогда белые стены стали серыми, беседку разобрали на дрова, а от обильного палисадника осталось несколько клочков любимых бабушкиных флоксов.

А в 2014 году, когда начался вооруженный конфликт, кто-то из папиных знакомых, побывавших в тех местах, рассказал, что жильцы жаловались на военных — мол установили «Грады» прямо в огороде и помяли всю кукурузу. Это последнее, что я слышала о своей малой родине.

Евгений Ямбург

Горевание

Памяти Марианны Гончаровой

О милых спутниках, которые наш свет
Своим сопутствием для нас животворили,
Не говори с тоской: их нет;
Но с благодарностию: были.

В. Жуковский

Завершила свое земное существование Марианна Гончарова.
Закончил свой земной путь большой писатель — Марианна Гончарова.
Перед лицом этой последней данности остается молчать, скорбеть и горевать.
Ибо где найти слова для передачи той боли, которую не передать словами.
У Марианны такие слова были — ВОТ КАК ОНА САМА ПИСАЛА О СМЕРТИ.

«...Кого ни спуросишь, на кого ни взглянешь, на челе каждого нормального взрослого, а иногда и не очень, человека, есть печать невосполнимых потерь. Не о деньгах я сейчас, не об имуществе.

Я о людях. Об ушедших людях. Нет, не от вас ушедших, не из вашего дома в другой, а вообще — из мира. Из дней и ночей. Из осени и весны. Из времени вашего общего ушедших. Навсегда.

Такие потери есть и у меня.

Одна странная знакомая говорит, что боится прощаться и провожать уходящих в иной мир людей. Она в своей довольно уже длительной жизни не провожала и не прощалась вообще и ни с кем, а было довольно много тех, кого следовало бы ей оплакать. Лида — её зовут. Лида или по-другому, ну да ладно — она, эта всегда очень нарядная Лида, говорит, вот приду прощаться с человеком и понимаю, что это я в очередь становлюсь, что постепенно подвигаюсь всё ближе и ближе. Не хочу этого всего чувствовать. И не буду. Я боюсь. Я боюсь! И не говорите при мне об этом. Мне неприятно. Мне страшно. Так кричит и топает ногой Лида.

А мне не страшно.

* * *

Вру.

* * *

Да. Вру. Тут другое. Я не боюсь преодолевать этот страх, вот так верней. Владка, моя подруга, часто внушала мне, что про смерть можно и нужно говорить и даже шутить, смеяться нужно, потому что это ведь часть нашей жизни. Ну, финальная. К чему это умалчивание и скорбная почтительность? Ещё никто не был от этого застрахован. Так шутила Владка, да.

Резо Габриадзе, как он говорит сам, старик среднего возраста, в интервью “Радио Свобода” сказал:

“Уход — это серьёзное дело. Вы молоды, в вас кипит жизнь, и мои ответы будут вам непонятны. Лет через пятьдесят поймете. Если бы я умел разъяснять такие сложные вопросы... Прочтите Ветхий Завет и четыре Евангелия”.

Какой толковый и простой совет: “Прочтите Ветхий завет и четыре Евангелия”, иными словами, живите и думайте. Потому что для того, чтобы прочесть и, главное, понять Ветхий Завет и четыре Евангелия, нужны усилия ума и души всей нашей жизни. А уж когда будем уходить, тогда всё и поймем. Я уверена. Так вот. Прекрасные, благородные люди уходили. Покидали меня вселенные — незаменимые, значительные, родные, — уходили из земной жизни. Не со всеми ушедшими я успела попрощаться. Не потому, что боялась, как нарядная Лида, а в силу того, что не успевала я приехать вовремя, чтобы проводить к последнему пристанищу дорогого мне человека.

Ушли мои Зиновий и Полина, дедушка мой и бабушка из Одессы. Их надлежало отпустить в тот же день, ну так положено было, так они попросили оба. Ушла Наташа Хаткина, моя милая драгоценная подруга, писательница и поэт из Донецка. Умерла мамина учительница словесности, лучшая подруга, любимая Берточка. Ангел нашей семьи Берта Иосифовна Гинзбург. Благородная, интеллигентная, тоненькая и красивая, внимательно прислушивалась она, слегка наклонившись корпусом к собеседнику, с неизменной сигаретиной в углу рта — так она мне и запомнилась навсегда, наша Берточка.

Прямо на моих руках умер Чак. Товарищ мой верный, безмерной души и благородства рыцарь и защитник. Да, здесь, на Земле, он был собакой. Там сейчас он несёт привычную службу — ангелом. Не простым ангелом — ангелом-вестником, ангелом-проводником. И это доказано. Совсем недавно ночью он приходил к нам, тихонько царапнул дверь и вежливо поскулил. Это был точно он, наш Чак. Он всегда был интеллигентен и тактичен, наш Чак. Его слышал только мой папа, тогда уже совсем растерянный и больной. Папа с трудом поднялся и пошёл открывать. Мама проснулась и спросила:

— Боря, ты куда?

И папа ответил:

— Пришёл Чак. Надо открыть.

Папа вскоре ушёл вслед за Чаком.

Одна знахарка, добрая, светлая женщина Леся, как-то сказала мне, что не стоит волноваться и болеть душой о том, что умирающим одиноко и страшно там, в том самом тоннеле. “Нет, — сказала Леся — а она знала, о чем говорит, — нет, каждого, слышите, каж-до-го, и праведного, и грешного, встречают там и не дают пасть духом родные и знакомые. Никто не уходит в одиночестве — никого не слушайте”, — успокаивала Леся. Я представляю себе, как мой папа шёл робко и неуверенно, но ориентиром ему служил приветливый, пушистый рыжий хвост моей собаки. Чак и тут, на Земле, никогда и никого из нас не оставлял в беде. Что уж говорить о другом мире. И он привел моего папу к недавно ушедшему в безвременье брату. Они были хоть и погодки, но похожи как близнецы — не различить. И друзья были не разлей вода. В детстве их звали Бузя и Вузя. Бузя — это мой папа, Вузя — это мой Вова, папин брат. Два брата, да. Теперь они вместе.

Ушли Славинские, Татьяна и Юрий, красивые люди, люди великих дел и тяжелых страданий и ошеломительных поступков. Мы с ними только познакомились, и просто

не успели стать верными друзьями. А должны были, потому что очень совпадали. Не хватило у них времени, у Тани и Юрия.

Не всем я успела рассказать, как дороги они мне были, эти великодушные, праведные, пламенные, возвышенные люди. Да вообще — кто же говорит другому человеку так неестественно глупо по-киношному, например, за чаем или на прогулке — слушай, а ведь ты мне так дорог, знаешь ли. Да?

Папа бы меня просто засмеял. И Наташа. И все другие... И даже Чак бы хмыкнул недоумённо и отошёл бы в сторонку...

Конечно, они бы все смеялись, мол, чего это ты ударились в несвойственную нашей весёлой компании патетику: дедушка, Полина, папа, Вова, Славинские, Берта Иосифовна, Наташка, Чак... И Владка...»

(Из книги «Дракон из Перкалаба». Повесть о Владке Павлинской.)

Поэты — пророки, они заведомо знают обстоятельства своего ухода.

«И умру я не на постели при нотариусе и враче» (Гумилёв).

«Чьи-то локоны запутались в петле (Цветаева).

И Марианна, конечно же, ведала, что путь её недолог. Потому так спешила и создала невероятно много.

А я, к стыду своему, до поры даже не догадывался о существовании этого прекрасного автора. Но в конечном итоге всё решают волшебные встречи: с Богом, с человеком, с книгой.

Эта книжка попала ко мне волшебным путем. Роль волшебного почтальона сыграл мой добрый друг — замечательный аниматор Гарри Бардин. После презентации своей новой работы в киноклубе старшеклассников, уходя, он, ни слова не говоря, оставил у меня на столе маленькую книжечку. Скользя глазами по обложке и не увидев там его фамилии, я, откровенно говоря, забыл про этот подарок. Название книги «Тупо в синем и в кедах» также мало о чем говорило.

Так и пролежала эта книжка недели полторы, пока я не приступил к разбору книжных завалов на своём столе. Рассеянно начал листать невзначай оставленный классиком мультипликации подарок. Откровенно говоря, фамилия автора — Гончарова — мне тогда ни о чем не говорила.

Но с первых же абзацев я в буквальном смысле слова впился глазами в текст и с той поры полюбил книгу и автора раз и навсегда. Николай Карамзин повторял, что человек изображается в слоге своём. В книге Марианны Гончаровой поражали простота, нежность и занимательность слога. А ещё тонкое чувство юмора. Позже, прочитав всё, что вышло из-под пера этого автора — повести, детские сказки, юмористические рассказы, — я в полной мере оценил масштаб личности писателя.

Было ещё одно обстоятельство, которое зацепило меня не в меньшей степени, нежели отточенное литературное мастерство Марианны Гончаровой. Дело в том, что долгие годы жизни я посвятил так называемой госпитальной педагогике, организуя специальные школы для детей с диагнозами, угрожающими их жизни. Среди них большая часть — это онкологические больные. А главная героиня повести, Лиза Бернадская, внезапно узнаёт о своём страшном диагнозе.

Так вот, будучи профессионально глубоко погруженным в медицинские, психологические и педагогические проблемы этих детей, я не нашёл в повести ни одной (!) ошибки. Создавалось такое впечатление, что автор проработал с этими детьми долгие годы. Что, разумеется, невозможно, поскольку в Черновцах, где жила Марианна Борисовна, нет таких специализированных клиник, как в Москве. Одного таланта мало, необходимо глубокое и серьёзное изучение материала, чтобы не соврать даже в мелочах.

Трижды перечитав повесть, я попросил у Гарри Яковлевича телефон Марианны Гончаровой. И излил на неё весь поток захлестнувших меня эмоций. По дрожащему голосу почувствовал, что разговариваю не с мэтром, купающимся в лучах своего

таланта, но с живым и трепетным человеком. Согласитесь, ещё одна важная деталь в оценке личности писателя.

Жанр повести необычен: это повесть в письмах девочки и ответах её penfriend (партнеров по переписке), а также её дневниковые записи в Интернете. Избранный жанр важен, ибо он возвращает нас к «Письмам русского путешественника» Карамзина, а с другой стороны, текст пропитан острейшими современными проблемами: буллинг в школе, локальные войны, стигматизация (навешивание социальных ярлыков) и так далее. Не случайно подруга Лизы, девочка-чеченка, говорит героине: «Все мы беженцы. Мы — от войны. Ты — от болезни».

После третьего прочтения у меня родилась идея создать в школьном театре спектакль по мотивам повести «Тупо в синем и в кедах». Именно по мотивам, ибо одно дело — спектакль, а другое — инсценировка. Название пришло само собой: «Бледная Лиза». Отсыл всё к тому же Карамзину, но в современном контексте. Жанр — мюзикл, в котором должны присутствовать яркие вставные номера: чеченские, гуцульские, украинские, русские песни и танцы, отрывки из произведений Густава Малера («Большая девочка»), фрагменты из мюзикла «Ромео и Джульетта». О чем спектакль? О силе духа, которая помогает преодолевать физические и социальные недуги, о взрослении. А ещё о толерантности. Слово, которое сегодня у многих вызывает презрительную гримасу. Но оно легко заменяется русским словом «великодушие». Это то, что Достоевский в своей Пушкинской речи назвал всемирной отзывчивостью.

Год сложнейшей подготовки, построены необходимые декорации, но тут грянула катастрофа. Накануне спектакля пришёл приказ, запрещающий в связи с COVIDом все массовые мероприятия. Не скрою, я провел бессонную ночь. Как объяснить юным актёрам, что спектакль, к которому они готовились целый год, отменяется?

К слову сказать, в разгар пандемии, когда были закрыты все театры, замечательная актриса Алиса Фрейндлих записала рассказы Марианны: «Поликарповна», «Бабушка, к доске!» и «Зельман, тапочки!». Эти мудрые и пропитанные юмором рассказы звучали на радио, морально поддерживая жителей города в период вирусной блокады, как когда-то, во время блокады военной, моральный дух ленинградцев укрепляли стихи Ольги Берггольц.

Вот что было написано в анонсе, предшествовавшем чтению рассказов Гончаровой Алисой Фрейндлих:

«В мае 2020 года на сайте БДТ имени Г.А.Товстоногова в рамках "карантинного" радиотеатра великая, легендарная актриса Алиса Фрейндлих читает рассказы Марианны Гончаровой в цикле "Записки из Молескина"...

“Мне так удивительно, как чуткая Алиса Бруновна находит голосом, интонацией то, чего я вообще не придумывала, а оно там оказалось. Как она из смешного делает печальное, а из печального — очень смешное!” Этими словами поблагодарила великую актрису Марианна Гончарова — современная писательница, чьи рассказы Алиса Фрейндлих выбрала для своего аудиопроекта на портале БДТdigital.

“Добрая, нежная интонация этой писательницы сегодня нужна гораздо больше, чем какие-то драматические серьёзные вещи, которые сейчас будут синхронны с ситуацией, — считает Алиса Бруновна. — Я её открыла для себя и хочу просто поделиться с вами. Тот, кто знает её, будет рад ещё раз это услышать, а тот, кто не знает, может быть, проникнется и поищет её книжки”, — признается актриса.

Но вернемся к нашей постановке. Было очевидно, что в режиме радиотеатра спектакль полноценно воспринят не будет.

Под утро пришло трудное решение. Мы будем играть спектакль в пустом зале без зрителей, но постановка будет транслироваться в Интернете. Юные актёры работали самоотверженно. А в Интернет пришли тысячи людей из России, с Украины, из Израиля и Америки. Среди зрителей известные деятели культуры, адвокаты и правозащитники, поэты и музыканты. Конечно же, постановку смотрели дети из наших госпитальных школ, разделяющие жизнь и судьбу Лизы Бернадской. Но самое

Евгений Абдуллаев

Снова обидно за поэзию

Нет, внешне всё обстоит благополучно. Поэты не бедствуют. Одеваются прилично. Посещают разные фестивали, форумы, фесты и прочие фуршеты. Меньше, чем в тучные годы, но всё же посещают.

И книги свои издают почти так же регулярно. Готовлю сейчас в следующий номер обзор новинок года; думал, не наскребу и пяток чего-то стоящего... Нет, уже за двадцать перевалило. И продолжают дариться и присылаться.

Так что с поэтами всё более-менее в порядке. Ожидали, что будут гонения — нет пока гонений. То ли руки до поэтов еще не дошли, то ли оные руки просто на них махнули. Ну, пописывают что-то, почитывают где-то, попечатавают как-то.

Бывают времена, когда чем лучше поэтам, тем хуже поэзии. И наоборот. Хотя жесткой зависимости здесь, конечно, нет.

Поэзия превращается в какую-то необязательную забаву, место которой, в лучшем случае — на специально отведенных площадках, в худшем — нигде.

Проходит, скажем, какое-нибудь большое литературное или, шире, культурное действо. Приглашают поэтов. Что делают приглашенные поэты? Присутствуют. Выступают, если дадут слово, — с речами или докладами. А со стихами? А поэтические чтения? Почти не припомню.

Прошел в Ташкенте XV Форум творческой и научной интеллигенции государств-участников СНГ. Приехали российские поэты. Марина Кудимова, Максим Амелин, Андрей Коровин, Евгения Баранова, Анна Маркина. Может, кто-то из других стран СНГ, не в курсе. В конце первого дня — выступление Молодёжного симфонического оркестра СНГ. Сидим, слушаем. Прекрасное исполнение, разнообразный репертуар. И вот сидящий рядом Андрей вполголоса говорит: а почему никому в голову не приходит организовать аналогичное выступление для поэтов стран СНГ?

Увы. Если привозят музыкантов — музыканты должны выступить. Если привозят поэтов — поэты могут просто посидеть и помолчать.

Как это, собственно, на второй день форума и случилось. На секции по литературе СНГ выступали разнообразные управленцы; долго докладывали о своих достижениях, в конце приняли какую-то декларацию или обращение (точно сказать не могу, к этому времени уже благополучно эвакуировался из зала). Ни одному из названных поэтов не предложили даже просто выступить. Поэты задумчиво изображали публику, пока тоже не спаслись бегством.

И ташкентский форум — не исключение; аналогичное встречал на других, и в других городах. Поэтов — иногда — зовут. Но за вычетом собственно поэтических фестивалей (которых всё меньше), чтения стихов от них никто не ждет.

Это не упрек организаторам. Ни в коей мере. Это просто показатель отношения к звучащему поэтическому слову сегодня.

Спасение утопающих, конечно, может быть делом самих утопающих. Самим договориться, посидеть и почитать стихи. Так оно и происходит. Скажем, на Школе поэтической критики, проходившей в начале октября в Пушкинских Горах; прекрасно, кстати, организованной. Поэтов было достаточно и среди «мастеров» (Дмитрий Бак, Владимир Козлов, Борис Кутенков, Елена Погорелая...), и среди «подмастерьев» (Евгений Коновалов, Анна Трушкина, молодой питерец Богдан Хилько...). Собрались вечером и читали себя по кругу. Друг другу, кому же еще?

Может, просто поэтические чтения сегодня — устаревший жанр? Хочешь почитать или послушать стихи — добро пожаловать в Сеть. Хоть «в буквах», хоть в видеозаписи.

Всё это так, но почему-то эти же сетевые возможности для музыкантов не отменяют живого исполнения: концерты, музыкальные вечера. Для актеров — театры, для художников — выставки. Хотя всё это, по идее, тоже можно посмотреть в Сети.

Что же не так с поэзией?

Нужно, впрочем, уточнить, с *какой* поэзией.

С *массовой* поэзией, интегрированной в шоу-индустрию, всё более-менее благополучно. И чтения, и промоушен, и паблисити, всё наличествует. (По крайней мере, так было до недавнего времени; сейчас здесь тоже всё в брожении...)

Но с эстрадной поэзией в плане доступа к массам всегда было неплохо. На них, массы, она и рассчитана, и так или иначе до них доходила. В виде текстов песен, в виде собственно стихов — хотя это *собственно* стоило бы поместить в кавычки: массовая поэзия никогда не бывает только поэзией, только стихами. Это всегда стихи плюс еще что-то: перформанс, акционизм, даже проповедь.

Как точно заметил Александр Бараш: «Выступления в 1960-е годы на стадионах были для публики в одночасье и концертом, и проповедью, по жанру ближе всего к шоу популярных проповедников в Америке»¹.

Неудивительно, что один из лидеров «стадионной поэзии», Евтушенко, уже в 90-е искренне возмущался, почему его не зовут почитать стихи в православном храме, с амвона²... И прочитал бы, кабы пригласили. С той актерской «задушевной» интонацией, которая звучала, вероятно, так свежо в пятидесятые-шестидесятые (и так искусственно — в девяностые-нулевые). Главное — аудитория, а уж где читать — футбольное поле или православный храм — дело десятое.

Нет, отличие массовой поэзии от немассовой не в том, что «немассовый» поэт пишет только для «избранных» и не хотел бы расширить круг своих читателей. Хотел бы. Дело, думаю, в другом. Немассовая поэзия — поэзия самодостаточного и самодовлеющего слова. Которому не требуется в виде гарнира ни артистическая декламация, ни владение искусством зажигать аудиторию.

Само чтение «немассового» поэта построено не на стремлении воздействовать на слушателей и манипулировать ими, а на желании донести до них смысл (даже множественность смыслов) стихотворения. Это различие в чтении стало заметно уже в начале прошлого столетия, когда поэтические чтения вышли из стен салонов и дворянских собраний.

«Читал он очень просто, не прибегая к обычным тогда приемам исполнения — не нажимал, не рычал, не пел, но сдержанно выявлял содержание произведения,

¹ Бараш А. Своё время. — М.: НЛО, 2014. С. 113.

² Олеся Николаева: «Евтушенко напоминал евангельского Нафанаила, в котором "нет лукавства"» // Татьяна день. Молодёжный интернет-журнал МГУ. 4 апреля 2017 года. (<https://taday.ru/text/2200382.html>).

умело, продуманно вел ритм стиха», — вспоминал о чтении Брюсова Владимир Фефер¹.

Та же простота, контрастировавшая с эстрадным чтением поэзии, была присуща и декламации Блока. «...В своеобразной и целомудренной манере своей читал он свои стихи, не помогая им переливами голоса...» (Юлий Айхенвальд)².

Так читает и большинство современных не-эстрадных поэтов: не «помогая» стихам ни рычанием, ни напеванием, ни бодрой рэперской скороговоркой. И — еще одно отличие от эстрадной поэзии — не нуждаясь ни в каком музыкальном сопровождении. Повторюсь: серьезная поэзия для своего чтения нуждается только в самой себе. То, что слабым стихам помогает, сильным — не то чтобы вредит, но выглядит досадно излишним.

Приведу — раз уж разговор коснулся истории поэтического чтения — еще одно мемуарное свидетельство.

«Так вышло, — вспоминает Сергей Чупринин, — что летом 1987 года я вел подряд два вечера в честь 80-летия со дня рождения Арсения Тарковского.

И первый, в Центральном доме архитекторов, получился, на мой тогдашний вкус, весьма ладным. Арсений Александрович долго читал... <...> И шли песни — удивительно много песен, от “Вот и лето прошло...”, какое все знают, до стихотворений, в гитарных руладах буквально преобразившихся.

Готовимся ко второму — уже в Центральном доме литераторов. Арсений Александрович ко всему относится очень благодушно, любые предложения организаторов принимает. И только вот этого — он рукою изображает треньканье по струнам — лучше бы, говорит, поменьше. “Так, может, совсем не надо?” — переспрашиваю я. “Мне — не надо, — отвечает поэт. — Но выдержат ли слушатели только стихи?”

Слушатели, а зал был, конечно, полон, выдержали»³.

Слушатели, думаю, выдержали бы и сегодня.

Время, конечно, изменилось; в конце 80-х массовым был интерес не только к эстрадной поэзии, но и к поэзии более сложно устроенной. Не только к сопровождаемой «гитарными руладами» — но и к той, которая в них не нуждается и их избегает.

Но списывать всё на «пришли иные времена» не стоит. Нынешнее малолюбие на поэтических чтениях — не только от упадка интереса к серьезной поэзии. Это и проблема *литературного менеджмента*.

Да, у поэта могут быть хорошие менеджерские задатки. Но каким бы он ни был толковым организатором, устраивание поэтических чтений, встреч, вечеров — дело всё же не поэтово. Сложно совмещать в одной голове два этих умения: писание стихов и организацию полноценных чтений. Где в зале были бы не только «свои»: собратья и сестры по поэтическому цеху, плюс пара-тройка сочувствующих филологов. Но и, например, старшеклассники, студенты. Просто образованные — и не очень — люди.

Для того, чтобы (в том числе) устраивать такие вечера, и должны существовать литературные менеджеры. Распространять информацию, рекламировать — а не просто, как сейчас это обычно делается поэтами, оповещать на своей страничке в соцсетях в робкой надежде на перепост.

Есть и другие вещи, которыми поэты уже так привыкли за последние лет тридцать заниматься сами, что даже не способны представить, что это может (по идее, даже

¹ Фефер В. Брюсов в «Школе поэтики» / Публ. А.М.Смирновой. Предисл. и прим. И.Ф.Кунина // Литературное наследство. Т. 85. Валерий Брюсов. — М.: Наука, 1976. С. 818.

² Айхенвальд Ю. Александр Блок // Айхенвальд Ю. Силуэты русских писателей. В 3-х выпусках. — М.: Научное слово, 1906—1910. Вып. 3. 1910. ([https://ru.wikisource.org/wiki/Александр_Блок_\(Айхенвальд\)](https://ru.wikisource.org/wiki/Александр_Блок_(Айхенвальд)))

³ Чупринин С. Вот жизнь моя: Фейсбучный роман. — М.: Рипол Классик, 2015. С. 119.

должен) делать кто-то не из поэтического цеха. Например, распространение стихотворных сборников. Издатели этим заниматься, как правило, не хотят, сами поэты — не умеют. Нужны литменеджеры.

Но как раз в наших палестинах это зверь исключительно редкий. Сравните. «Литературный менеджер», введенное в поисковик Google'a дает примерно 844 соответствия — причем значительная часть из них связана с не-российскими реалиями. Тогда как поиск на literary manager — около 94 300 результатов. Более чем в сто раз больше.

Может, конечно, разговор о литературном менеджменте сейчас не ко времени. Литература (как и общество) расколота, тут бы как-то сохранить то, что еще есть, а не мечтать о развитии института литературного менеджмента. Да и вряд ли на современной серьезной поэзии можно заработать, а без этого ни один менеджер не станет гнуть спину. Эстрадная поэзия — другое дело; или даже еще более золотonosная жила — любительская поэзия. Ее уже и так давно и успешно окучивают литературные менеджеры, вроде Дмитрия Кравчука (сайты stih.ru и proza.ru) или недавно ушедшего Александра Гриценко, с его «Интернациональным союзом писателей».

Но если не получается пока что-то делать, надо хотя бы что-то думать. Проектировать, вычерчивать мысленные чертежи нашего литературного будущего.

Тем более что даже настоящее преподносит порой сюрпризы, не обязательно неприятные. Сколько видимых и невидимых миру слез было пролито о состоянии литературной критики. Демпрофессионализируется, исчезает... Но вот последние года три стали вдруг возникать курсы литературной критики. В одной литшколе, в другой... Семь лет назад, когда только начинал преподавание в литературных школах, не мог даже этого представить: востребована везде была только проза, проза и еще раз проза. Теперь людям стала интересна и литкритика, как она вообще делается. Критиками, конечно, станут из них единицы; но и это неплохо. Так, глядишь, и курсы литературных менеджеров появятся, что-то начнет понемногу меняться.

Литературный менеджмент — это, конечно, не панацея; всего лишь один из инструментов литературного процесса, со своими плюсами и минусами. Но что-то должно меняться. Иначе — обидно за поэзию. За прозу, конечно, тоже, но за поэзию — чаще. Просто очень обидно.

Борис Минаев

БаннЫЙ день

Голая правда

Все знают апокриф о «Ревизоре» — царь Николай I посетил первую постановку и благодушно пошутил о том, что в пьесе высмеяна вся Россия, но больше всего досталось ему самому.

Мне всегда хотелось понять: почему такая адская сатира на чиновничество, на бюрократию, на режим, на устройство страны, на ее казенную тупость, свирепую сущность, на взятки и насилие — почему эта сатира не то что не была запрещена, а стала самой популярной русской пьесой на двести лет вперед?..

Чтобы нырнуть туда, в гущу событий, надо очистить, отмыть свой взгляд от всего, чторосло за эти почти двести лет. Именно такой способ избрали авторы последней по времени версии «Ревизора», идущей этой снежной и довольно тяжелой зимой на московской сцене.

Дело происходит в бане. Актеры, соответственно, все практически голые (в простынках) — все три часа. Основные конфликты и сценические повороты происходят в воде. В первые ряды летят брызги (зрительницам первого ряда выдают водонепроницаемые прозрачные балахоны). Актеры рискуют поскользнуться — и поскользываются. Внимание зрителя свободно перемещается от гоголевского высокого смеха на розовые пятки, лодыжки и прочие подробности. И с этим ничего не поделаешь — таковы «правила игры».

Понятно, почему Сергей Женовач, режиссер спектакля «Лабардан-с» (на сцене «Студии драматического искусства») — пошел на этот вполне рискованный шаг.

Нет, не только с целью изумить и порадовать зрителя — но и для того, чтобы именно что очистить гоголевский текст от налипшей традиции, от коросты «костюмного» Гоголя, от привычного мундирно-рюшечного подхода. От того, чтобы мы все время вспоминали, в каком веке (позапрошлом) все это происходит.

Нет.

«Ревизор» происходит всегда, «Ревизор» происходит с нами, «Ревизор» происходит везде, где есть русские, — и для этого маловато обрядить героев в малиновые пиджаки, дать им мобильники и изобразить приемную губернатора.

Нужны средства посильнее.

Таким средством и оказалась баня.

Как говорится, чистый эксперимент, во всех смыслах.

Театральная метафора — сильная вещь, и если она удачна, то развертывается непрерывно и долго еще заставляет в себя всматриваться, вдумываться — голые персонажи «Ревизора», это ведь, в сущности, полное соответствие замыслу автора: гоголевский смех именно что нас всех обнажает, делает беззащитными и слабыми, слишком нежными и откровенными, наивными и простодушными, то есть

«голыми» — перед лицом какого-то Зрителя, обзирающего нас сквозь свой безжалостный монокль. Все персонажи «Ревизора» все время делают что-то интимное, слишком «человеческое», в этом секрет комедии, им все время хочется крикнуть: ну хоть немного застегнитесь, прикройтесь, оденьтесь, ну хоть в какие-то правила этикета, нормы морали, но нет...

Они «раздеваются» при любом удобном случае — и когда влюбляются, и когда дают и берут взятки, и когда гnevаются, и когда боятся.

Такое вот слишком натуральное, слишком откровенное человеческое «естество».

В сущности, именно этим, возможно, Гоголь защитил и оправдал их, причем на двести лет вперед. «Ну это же люди! Просто люди, пусть отвратительные, но люди! Простите их! Хотя прощать, конечно, очень не хочется...» — как будто воскликнул он, и мысль его светит, как одинокая звезда, вот уже сколько эпох, сколько революций и войн она пережила, а по отношению к русскому начальству и русскому народу она по-прежнему равно актуальна, все та же нагота добродушного, ничем не прикрытого, никакими «законами и установлениями», правилами и мундирами, человеческого естества просвечивает сквозь этот «водевиль».

...Но не только в этом, конечно, дело.

«Ревизор» я смотрел много-много раз, но почему-то именно в этот — вспомнились мне советские командировки от газеты «Комсомольская правда» или от журнала «Вожатый», когда для меня, «ревизора» из столицы, накрывались пиры и ломились столы в самых разных присутственных местах: в школе, в библиотеке, в кабинете директора какой-нибудь фабрики. Пиршества эти были не то чтобы изобильными: ну, бутерброды с дефицитной колбасой нарежут, конфеты выставят шоколадные, салат оливье женщины дома сделают и принесут. Помните, где именно Хлестакова угощают и заставляют напиться до положения риз, наесться до отвала, в том числе неизвестной рыбой лабардан? В таком вот присутственном месте, в «богоугодном заведении», в больнице. Неподходящее место для пиров, но другого почему-то не нашлось — а где еще можно «спокойно посидеть»?

И как откажешь такому наивному непосредственному гостеприимству и радушию?

Этот «хлестаковский комплекс» мне хорошо знаком.

Именно у Гоголя, конечно, лучше всего описан уездный город N как космос, как удивительное явление — гармоничный мир, который замкнут сам в себе, настолько цельный и самодостаточный, что разрушить его способно только что-то небывалое — да и то ненадолго.

Ну вот разрушили его гражданская война или перестройка — и что? Надолго ли?

Когда Иван Александрович Хлестаков видит, что его принимают «не за того», и одновременно чувствует, что главная цель этих людей — защитить свою гармонию, свою цельность, он с ужасом и смехом на губах уезжает поскорей. В свою «столицу».

Не для того даже, чтобы его не разоблачили, — а чтобы им не навредить. Их покой не нарушить.

Но в чем же секрет этой двухсотлетней гармонии? Этой космической цельности?

Трудно ответить однозначно — наверное, прежде всего в существовании вот этой большой «семьи» городничего, всех этих служилых людей, каждому из которых отдан на откуп целый пласт жизни, целая отрасль — образование, медицина, почта или налоги, и главная их цель: ничего не изменить, ничего не нарушить, соблюдать иерархию, а самое главное — продолжать быть «семьей»; и не случайно, конечно, режиссер Женовач отправляет их в баню: у них друг перед другом секретов нет. Меркантильный интерес, большие деньги, всякие новшества типа выборов, которые появились в 90-е, — очень сильно вмешались в этот порядок, но опять-таки ненадолго. Потом все устаканилось.

Вот так существует этот «микромир» внутри большого российского мира, и в этом главная загадка.

Мне даже кажется иногда, что именно Николай Васильевич способствовал тому, что он так прочен и так неизменен, — настолько ловко и точно он его описал, как будто создал удивительный «клей», который склеил его на два века вперед.

Здесь как бы и нет «отдельных» людей, все они именно что *вместе*, «отдельность» Чацкого тут совершенно невозможна, а возможно — только быть заодно, всегда, везде, в любых обстоятельствах, оттого за три сценических часа ты настолько проникаешься этим духом голой правды, этой баней, что хочется воскликнуть: да пропади ты все пропадом, — и самому нырнуть в этот банный котел взаимозависимости всех от всех. Ну вот я хотел бы сказать, как мне понравился молодой актер Никита Исаченков, играющий Хлестакова, или совершенно неожиданный, как бы «стертый», намеренно «никакой» Дмитрий Липинский, играющий Городничего, или прекрасные, каждая по своему, Варвара Насонова или Виктория Воробьева, играющие, соответственно, Анну Андреевну и Марию Антоновну, — но не могу никого выделять, потому что все они всегда в бане, все они, по сути, одно большое народное тело. (Недаром некоторые реплики Хлестакова переданы совершенно другим персонажам, Ивану Александровичу тут не дают слишком «заноситься», «воспарять», «завираться», он лишь — «один из нас».)

И оно, это «народное тело», одновременно и простодушно, и мерзко, и мило, и отвратительно — и что с этим делать, совершенно непонятно.

Посвящение учителю

Бывают театральные события, которые совсем выламываются за рамки театра, за рамки привычного. Таким событием стала премьера документального фильма Елены Якович «Тише, идёт репетиция» в театре-студии «Мастерская Петра Фоменко». Фильм сделан к юбилею великого режиссера, и зрители, пришедшие в театр в тот вечер, увидели полную версию (телевизионная тоже, вероятно, появится на экранах).

Это фильм о том, как рождался новый театр, как в нем проявлялся особый, ни на что не похожий стиль, как исторически сложилось братство «фоменковцев», с их принципами и их языком.

Тут, конечно, напрашивается рифма с 1960-ми годами, когда возникали новые театры и новые театральные принципы, когда из бывших студентов во главе с мастером родились и «Таганка», и «Современник», — примерно то же происходило и в 90-е, и в последующие (и наследующие им) нулевые годы. Те самые 90-е, которые для многих (и уже навсегда) стали лихими и тяжелыми, для других означали — даже сквозь прыгающие цены и довольно скудное существование — эпоху новаторства и открытий.

То есть стали исторической платформой — новой жизни в искусстве, в культуре.

Именно это описано в фильме «Пётр Фоменко. Тише, идёт репетиция» — как шаг за шагом в сотворчестве бывших студентов и их мастера возникает совершенно новое явление. Режиссер использует в фильме обширный материал, который предоставил театр: съемки репетиций, обсуждений, поездок — Фоменко здесь открыт и прост, он откровенен, насколько возможно, и мы сквозь туман времени, довольно хорошо переданный любительскими камерами, с восторгом наблюдаем за его «актами творения».

Актеры театра — сестры Кутеповы (Ксения и Полина), Галина Тюнина, Кирилл Пирогов, Евгений Цыганов, Карэн Бадалов, Полина Агуреева и другие — рассказывают о том, как это было, как рождалась та или другая знаменитая сцена, как вел себя Фоменко в разных ситуациях, как вступал в конфликты и объяснял на пальцах актерскую задачу, как говорил о смысле той или иной пьесы.

Честно говоря, это воспринимается сейчас как чудо. Именно то, что ты всегда хотел узнать, вот эти «закулисные» вещи, скрытые от глаз зрителя подробности — явлены здесь во всей своей вкусной полноте.

Почему Фоменко так яростно держался за классику? За Толстого и Пушкина, Островского и Чехова, то есть за «хрестоматию», за авторов из «школьной программы»? Почему видел в них такие глубины, о которых мы и не подозреваем?

Может быть, думаю я сегодня, он предвидел, предчувствовал, через какие испытания придется ей пройти, этой «великой русской культуре»? Через очередную попытку умертвить ее глянцем и державностью или через попытку остракизма и отторжения? Наверное, была у него эта интуиция, по крайней мере, так кажется сегодня.

В фильме есть еще одно чудо, чудо превращения: Фоменко говорит не только сам, своими отрывочными, порой «зашифрованными» для других репликами, но и через своих любимых актеров. Они, ученики его школы, говорят — и его самого слышно прекрасно.

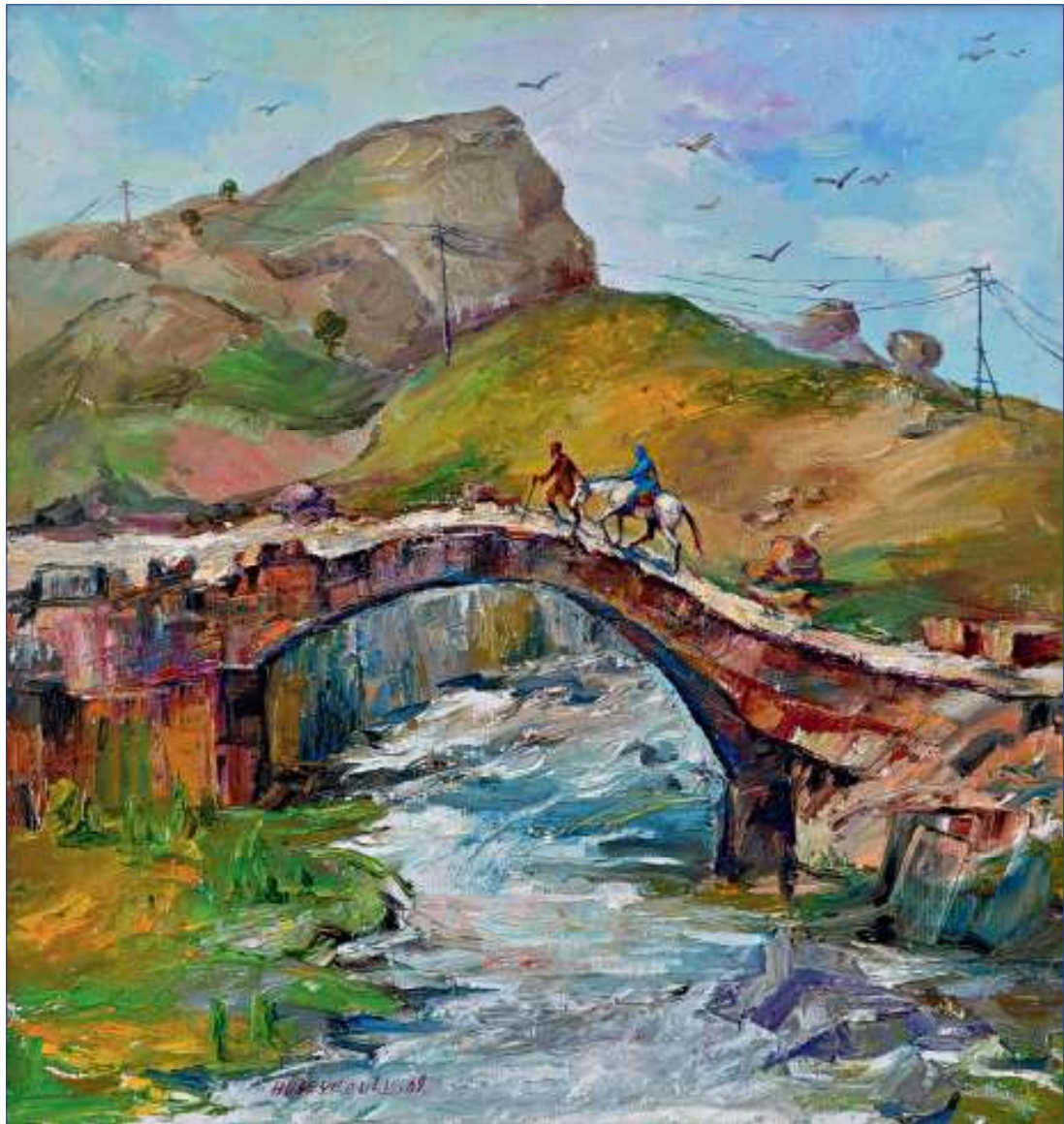
Причем нет — опять-таки — глянца и юбилейности. Говорят иронично, говорят с той любовью, с какой именно дети (любимые дети) могут говорить, говорят порой горько и страстно.

И Фоменко смотрит на нас сквозь них — со своей хитровой усмешкой.

Не все театры — далеко не все — прошли сквозь это испытание, когда уходит основатель, главный режиссер, художественный руководитель.

«Фоменковцам» это удалось. Несмотря ни на что. Можно спорить о том или ином спектакле, но совершенно понятно, что это театр живой, действующий, театр в развитии.

Почему так, в чем секрет — на эти вопросы отвечает фильм «Тише, идёт репетиция». И отвечает довольно полно.



Гусейнкули Алиев

МОСТ. 2010.
Холст, масло



Мамедкерим Кулиев

АПШЕРОН. 2006.
Холст, масло



Мелик Агамалов

ЭДЕМ. 2011.
Холст, масло, смешанная техника



Мухаммед Оруджев

ВРЕМЯ ОБЕДА. 2013.
Холст, масло



Фархад Халилов
ИЗ ЦИКЛА ВСТРЕЧА. 2007-2008.
Холст, акрил



Орхан Гусейнов

ГОРОД ШУША. 2007.
Холст, масло



Эльдар Мамедов

БЕГУЩИЙ МАЛЬЧИК. 2005.
Холст, масло



Таир Салахов

ПОРТРЕТ БОРИСА ЕФИМОВА. 2006.
Холст, масло



Эльшан Гаджизаде

МОЯ ШУША. 2002.
Холст, масло

Summary

Andrey VOLOS. The Clouds of Transitions

In this novel rich with the events all the characters have their own story of the relationships with the protagonist, and the latter names himself differently to everyone of them. And whether all this takes place in fact, that is in reality that the author unrolls before us, or on the pages of the novel he is writing, it's up to the reader to choose.

Irina MURAVYEVA. Belkin

One more «literary» plot — the light, sparkling long short story about the very well-known — and at the same time unknown — character of Pushkin's chrestomathic stories. Who is he, Ivan Petrivich Belkin? A literary character? The hero of Pushkin's mystification? Or a real man, the author of these simple and so wise stories? The view and presentation of various events of his own turbulent life by Belkin not always coincides with the recognized subjects and characters of Pushkin's stories, and these overlays and different interpretations spread the art space of Muravyeva's story.

Poetry

«Pity is a sister of suffering» — it's one of the main motives of the philosophical lyrics by Olesya NIKOLAEVA which in our time reaches other heights: «Pity is a sister of Love».

Evgenij KONOVALOV meditates over eternal themes: love and death, which is «no more than a dot in the overabundance of words».

The collection of Irina KOLESNIKOV's poems («Birth Certificate») is full of memoirs of her happy sunny childhood — Mother's garden, Father's birthday, — which however is marked by the family drama.

Alexej MALASHENKO. Cornflowers of Memory

«What am I writing this for? Who is interested in somebody else's infantile politnostalgia?» — was asking himself Alexej Malashenko in his essay «The Policy of My Childhood» («DN», 2019, № 11). We hope many are interested in it including the young people for whom the middle of the last century is a faraway history and who want to know about those tempora and those mores not only from the articles and researches but also from the living, sometimes humorous youthful feelings-memoirs like these. «Lucky is he who being a grown-up person is capable to return into the child's memory. Sometimes it seems impossible to believe that all this really took place, but it's rejoicingly to believe that it will never happen again. Though sometimes it happens».

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Журнал «Дружба народов»

можно выписывать с любого месяца во всех отделениях Почты России.

Подписной индекс в каталоге «ГАЗЕТЫ. ЖУРНАЛЫ» — **70250**

Подписной индекс в зеленом каталоге «ПРЕССА РОССИИ» — **91826**

Электронную версию «ДН» можно купить на <http://дружбанародов.com>

Журнал продается в московских магазинах:

«Фаланстер» (Москва, ул. Тверская, 17, вход с Малого Гнездниковского переулка)

«Бункер» (Покровка, 17; ежедневно с 12 до 22)

Также журнал можно приобрести через интернет-магазин Лабиринт.ру в любом городе страны.

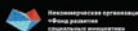
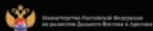
Вёрстка: Елена ЖИРНОВА

Корректурa: Елена ЛАПШИНА

Дизайн обложки: Степан ЛУКЪЯНОВ



ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО ФОНДА ГУМАНИТАРНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ
И ФОНДА «РУССКИЙ МИР»



Общероссийская литературная Премия «Дальний Восток» им. В.К. Арсеньева

**3 приза
по 500 000 р.**

**в трёх
номинациях**

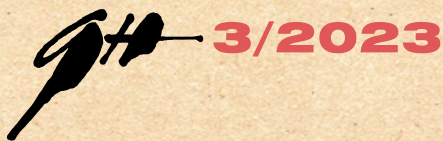
- Длинная проза
- Короткая проза
- Проза для детей

Прием заявок
с 1 февраля
2023 года

18+



премияарсеньева.рф



Читайте:

**Максим Гуреев. Из книги
«Андрей Битов. Мираж сюжета»**

«...до Большого Острова Битов добрался уже затемно. Обещанный "мотор", конечно, не появился. Пришлось ждать рыбаков и уже с ними через Железные ворота дошёл до Долгой губы, а там до монастыря подбросили лесники. Ехал и думал о том, что, наверное, он островной житель — Аптекарский остров, Соловецкий остров, — на карте пространство ограничено, невелико, вполне обозримо, но, находясь внутри этого пространства, начинаешь понимать, что его пределы весьма условны, потому как, пытаясь охватить их взглядом, обретаешь простор, натыкаешься на горизонт, беспомощно при этом грезишь об Империи, а она — вот она, тут как тут, торжественно не предполагает никаких границ, хотя они, конечно, гипотетически существуют, более того, они "на замке". По крайней мере, когда в детстве лежал на кровати и рассматривал карту, приколотую к стене, видел их...»

